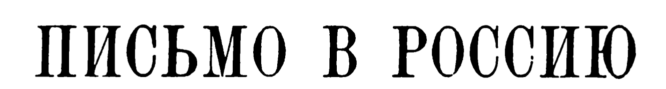
Николай ТАТИЩЕВ

ПИСЬМО В РОССИЮ

YMCA-PRESS

ПАРИЖ



ПИСЬМО В РОССИЮ

Николай Татищев

ПИСЬМО В РОССИЮ

YMCA - PRESS
11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève
ПАРИЖ

ПЕРЕВАЛ

„Неслыханные перемены, невиданные мятежи“.

Александр Блок

По вечерам в казармах вахмистр Голубь производил с новобранцами занятия „словесностью“ — так называлась тогдашняя политграмота. Это происходило в декабре 1916 года в Муравьевских казармах под Новгородом. Парни от сохи ничего не понимали и отвечали невероятную чепуху.

— Кто у нас в полку начальник хозяйственной части?

— Его императорское величество... неуверенно начинает парнишка.

— Сволочь, растяпа, сукин кот! Вольноопределяющийся, объясните.

И я легко и свободно отвечаю по уставу:

— Свиты его величества, его светлость полковник герцог Лейхтенбергский.

— За что полк получил в награду серебряные литавры?

— За бой под селеньем Фершампенуаз во Франции.

— Как называется четвертый полк нашей дивизии?

— Лейб-гвардии Кирасирский государыни императрицы Марии Федоровны полк.

Раз в две недели выпадала моя очередь нести караульную службу. Лучше всего было стоять на часах в закрытом помещении, у арестованных. Караульное помещение аракчеевских времен для часовых было местом борьбы со сном — там никогда не спали. Устав разрешал в перерыв между „стоянием на часах“ прилечь на нары и расстегнуть верхний крючок шинели. Унтера на дежурстве коротали ночь вокруг стола с керосиновой лампой, за чаем. Я старался не дремать и запоминать материалы для книги „Рассказы караульного помещения“.

Рассказы наших взводных отзывались суровой солдатчиной прошлых поколений, часто это были старинные сказки: „А

солдат ей в ответ... а царевна ему... а царь... а солдат, не будь промах"... Мерещился сказочный царь, может быть Павел Первый, которого убили генералы, за то что он не давал им спуска. Сквозь тени в углах мерещились почтовые станции, шлагбаумы, курьерские тройки с фельдъегерями.

Подсев к унтерофицерскому столу я однажды предложил рассказать сказку и прочел наизусть всего „Золотоого Петушка". Им как будто понравилось, но не знаю все ли они поняли. Кто-то сказал: „Да, строй — святое дело". Слово „строй" означало многое, в том числе дисциплину.

На кладбищах наших „Муравьев" я находил такие надписи на могильных плитах: „Поручик такой-то, погиб при подавлении картофельного бунта", или „при возмущении против военных поселений". То было предвестие, отдаленный гром гражданской войны, которая вспыхнула год спустя. Но никто этого не предполагал.

После ужина солдаты выстраивались в широких гулких коридорах на вечернюю поверку и на молитву, которую пели хором. Затем по уставу полагалось идти спать, но вахмистр Голубь не отпускал сразу: он держал нам речь. В продолжение получаса он распространялся о замеченных им за день упущениях по службе, без конца повторяя все одно и то же. И это последнее испытание солдаты больше всего ненавидели и считали самым несправедливым из всего что творилось над ними. Смысл речей Голубя был тот, что здесь никаких поблажек не будет, здесь дисциплина. На уборке лошадей, на гимнастике, на езде в манеже были промахи от невнимания, никто не знает строя и устава и ни один не гордится своей нероятной удачей — попасть в самый первый, самый старинный и самый замечательный в мире полк. „Вы думали, нажрались каши и на боковую, ваше право, так что-ли? Нет, любезные, не тут то было. Жаловаться на меня некому (это не говорилось прямо, но подразумевалось), ко мне командир не придерется, для вашей же пользы вас наставляю, сам не иду чай пить... да не смотрите волками, что захочу, то с каждым и сделаю." — И это доходило до темного сознания новобранцев и оскорбляло их хуже подзатыльников на вольтижировке, больше чем весь нелепый садизм „Муравьев„.

Несколько недель спустя, когда я уже был в Петербурге, до меня дошли слухи, что в первые дни февральской революции солдаты раздели Голубя до-нага и чистили — чего не делалось даже с лошадьми — железными скребницами. И все же после он успел куда-то смотаться с каким-то казенным капиталом.

Однажды вечером за мной пришел вестовой из офицерского собрания и сказал, что мне приказано явиться на ужин. В

этот день приехал из столицы ротмистр Фитингоф и сообщил взволновавшую и обрадовавшую всех офицеров весть об убийстве Распутина. По этому случаю была организована попойка.

В собрании стоял туман от табачного дыма и сидело человек двадцать офицеров в погонах разных полков. Среди них находился один из членов династии, средних лет, долговязый, похожий на немецкого строевого офицера. Он держался со всеми на равной ноге, был с некоторыми на ты, при том от него исходило сдержанное, благосклонное сознание собственной значительности. Выражение его длинного лица с серыми глазами было приветливо и на нем читалось: пусть веселятся, слава Богу они не знают, как тревожно в Царском Селе и на фронте. (После революции он собирался постричься в священники, но не успел и летом 18-го года погиб вместе со многими своими родственниками в Перми).

Он меня сразу заметил, едва я вошел:

— Погодите, а вот сейчас мы проэкзаменуем пижона, посмотрим, хорошо ли он службу знает. Скажите, кого вы обязаны приветствовать отданием чести при встрече на улице? Не подумайте, что я чем нибудь не доволен, напротив, вы хороший служака, но отвечайте сразу.

— Всех штаб и обер офицеров, а также всех нижних чинов, старших меня по званию, ваше высочество.

— А младших званий?

— Так точно, я отвечаю на их приветствие.

— Следовательно, сказал он пристально глядя мне в глаза выпуклыми глазами, следовательно... И так как я не догадывался, что надо ответить, он сам подсказал: — Следовательно, заключил он великодержавно, постепенно ослабляя гипноз, — всех без исключения чинов и званий гвардии, армии и флота.

— Всех чинов, подтвердил я упавшим голосом.

— Очень правильно. А теперь садитесь и продолжайте веселиться с вашими будущими товарищами.

Я сел в конце стола, но сразу должен был опять встать: все хором затянули что-то и мне сказали нести на подносе стакан с вином командиру полка. Пели так: „Просим младшего корнета поднести бокал вина. Хороша традиция эта, Федор Карлыч пей „до дна!“ После чего мне стали наливать водку, ром, вино, и смесь и через несколько минут я почувствовал себя уютно и приподнято-радостно. Толстый ротмистр Нарышкин, которого называли Диди, обняв меня усадил рядом и стал говорить, что он очень знает моих дядей, „а ты, скотина, на службу приехал и книжки привез, не хорошо, брат, брось их козе под хвост, пой со всеми: „Щуку я словила, уху я сварила“... Комната закача-

лась, будто среди мятели, поднималась и замирала вьюга и гул голосов. Из тумана выплывали лица, энергичные или сонные. В темном углу солдат со странной фамильей Почтовый потрошил банку с консервом кривым ножом (через три месяца он стал полковым комиссаром). На диване восхитительно небрежно сидел элегантный поручик по прозвищу Киндос. Атмосфера дружная, грубовато-добродушная, будто в усадьбе собрались подростки на семейный праздник. Некоторые издали внимательно смотрели на меня: экзаменуют, сообразил я.

Диди тоже следил за мной и всякий раз я задумывался, тихо говорил:

— Опять про свои книги дурацкие думает! Да живи ты просто. Я редко с кем сразу перехожу на ты, а ты не ценишь. Надулся, как индюк какой-то!

И мне чудилось в этих словах: „живи просто, проживешь лет со́-ста невесть какое значение. И вдруг казалось, что я легкомысленно даю увлечь себя в очень опасный магический опыт, в серьёзную бесовщину. До тех пор я еще никогда не напивался, но до нынешнего дня вспоминая во всех подробностях тот первый вечер... „Опять он про свои книжки! Да покажи мне их наконец! Вот, завтра нарочно приду и посмотрю своего Бергсона“.

Он действительно пришел в комнату вольноопределяющихся и оказался настолько дружеским, что я решился намекнуть ему про Голубя, на его поведение с солдатами и на то как они к нему относятся. Оказалось, что Диди давно все это знает и даже больше моего, но ничего изменить нельзя: во-первых не с нами началось, не с нами и кончится, во-вторых Голубю доверяет князь Иоанн Константинович и командир полка, на Голубе лежит и хозяйственная часть, если он крадёт, то так что комар носа не подточит, люди сыты, инспекторские смотры проходят гладко. А главное — служба сейчас рай, по сравнению с тем что было в прошлом, значит, все идет к лучшему само собой, а начнешь вмешиваться — наверное напутаешь и напортишь.

Скоро я стал своим человеком в офицерском собрании. Ко мне привыкли, а Диди объяснял всем: „Он у нас ученый, Пушкина наизусть запомнил“. Меня освободили от уборки лошадей, потом от вечерней поверки, потом от словесности. Под конец пребывания в Муравьях я стал большую часть времени проводить в офицерском собрании, где напивался и играл в покер. Главное, я оценил преимущества военного положения, его веселые стороны. Научился одеваться как Киндос. Шинель затянута, новые ремни скрипят, на голове художественно смятая, размоченная для этого в тазу с водой английская мягкая фуражка или, еще лучше, теплая, из легкой как паутина шелковистой шерсти цвета темного серебра каракулевая папаха, прижатая

слегка к затылку. Походка и все движенья небрежные, но не развинченные, подтянутые, но с сохранением некоторой независимости.

Так я входил в столовую собрания, в буфет на станции Подберезье или в гости к помещику Вульфу. Клал папаху на диван и всякий видел, что вот юнкер, который скоро будет произведен в офицеры, такой ловкий и блестящий. Вульф угощал коньяком, его дочери хихикали. В этих местах проезжал Пушкин по дороге в Михайловское. Он ухаживал за прабабушкой этих девиц, но они этим не интересовались, книг у них не было, не говоря уж про альбом сотихов. Они танцевали под граммофон новый лондонский танец и знали новые выраженья военного времени: разыграть, вместо высмеять, обложить вместо обругать, сыграть в ящик вместо умереть. Своих родителей они называли „предки".

Я слегка играл под Лермонтова, но это пропадало впустую. В те месяцы я разучился думать и даже на время разучился читать: „Материю и Память" Бергсона так никогда и не одолел. Думать же я разучился потому что все мысли заглушала одна: сознание своего превосходства умственного и всяческого над всеми без исключения людьми.

Незадолго до мартовских событий меня откомандировали в Петербург сдавать офицерские экзамены.

РОЗОВЫЙ КРОКОДИЛ

За 53 года, которые отделяют меня от событий эпохи гражданской войны, я сам и все вокруг изменилось коренным образом. От прежнего не осталось ничего. Исчезли все, кого я тогда знал — одни умерли, другие куда-то пропали. Я почему-то еще жив. Но по книге Лао-Тсе выходит, что кто понимает, что живет в Тао, не может выйти из Тао, умереть.

Иногда читаю в русской газете, что — „чины Н-го дивизиона соберутся по случаю годовщины в церкви на Дарю, а после в ресторане", но я туда не хожу. Я не помню ни тех „чинов", ни их фамилий и они вероятно не вспоминают о моем существовании. Знаю только, что их осталось всего три старика. Они слыхали, что я опустился, спутался черт знает с кем, и так и нужно было ожидать. Эти записи до них не дойдут.

О том как изменилась окружающая обстановка, говорить не приходится. Здесь в Париже очень важным для меня вопросом оказалось доставать землю для двух ящиков с цветами, которые стоят на подоконнике. Земля в цветочном магазине стоит дорого. Накопать самому негде, но если бы и нашлось место на пустыре, свободное от асфальта, все равно здешняя земля не годится, она испорчена, омертвела, стала как безжизненный бетон.

Так вот, мне нужно делать не малое усилие, чтобы ясно представить чем был в 1919 году в уездах Украины корнет Татищев, вспомнить что он говорил и думал и какими мотивами руководствовался в своих поступках.

Кажется что я тогда — во всяком случае в начале похода на Москву — не ощущал ясно плотности материи и степные равнины развертывались предо мною как мираж. Летние просторы, сухая жара. Если посмотреть с кургана, мерещится что по дороге ползет извиваясь огромная серая кишка — это эскадрон идет „справа рядами", т. е. по-два, весь окутанный туннелем черноземной пыли. Над пылью вылезает и колышется пика с эскадронным значком — треугольным малиновым флагом, что

приводило в недоумение местных жителей, не ожидавших увидеть такой флаг у деникинцев.

Я еду посередине, во главе пулеметного взвода. Оранжевое солнце застыло над полями с неубранным хлебом. Мужиков не видно, они вероятно попрятались от нас со своими лошадьми и женщинами. Край кажется брошенным жителями. На горизонте синеет, как лес, длинное село с белой колокольней. В этой степи бывало так, что утренней зарею, едва выползешь по прохладе за околицу хутора, где провели ночь, увидишь впереди тонкую, как свеча, колокольню, колыхающуюся сквозь испарения земли. Потом, за долгий день, она же примелькается то справа, то слева, наш полуденный привал окажется в ее соседстве. А когда наконец добредем до нового ночлега, с верхушки соломенной скирды, узнаешь ее же в виде белой царапины на южном горизонте.

Мы шли с юга на север и передвигались всегда шагом. Сзади меня стучали тачанки с пулеметами Люиса. За ними на вороном битюге, забранном из имения Аскания Нова, ехал вахмистр, старослужащий с японской войны, с четырьмя медалями на груди.

Вглядываясь вдаль за полями я слышал разговоры, что там за оврагом окопался и поджидает нас неприятель. Иногда это случалось и происходила легкая стычка. Тогда наши рассыпались в лаву и мчались карьером, но чаще мы незаметно проходили опасное место никого не встретив.

Над краем застыла тишина и ниоткуда, сколько ни прислушивайся, не доносилось артиллерийских раскатов. Я знал что за нами или по другим параллельным дорогам движутся другие полки, иногда мы встречались с ними на ночлегах. Проходили дни и недели. Мне казалось, что мы это колонны римских легионеров — наши солдаты носили круглые металлические шлемы.

Мы миновали уже несколько уездов. Полковой адъютант сменял каждые четыре дня свою трехверстку генштаба и острил, что проще сразу обзавестись глобусом. Я курил махорку из трубки. Если не было спичек, закуривал направляя на трубку солнечный луч сквозь увеличительное стекло.

По вечерам удивительное спокойствие опускалось над миром. Эскадрон подходил с песнями к месту, назначенному для ночлега. Командир предпочитал украинские заунывные песни о скошенных лугах, о жнецах на горе. Вспотевшие лошади шли по широкой улице с журавлиными колодцами и акациями в палисадниках. Лошади, вклиняясь в стадо, разбрасывали в проулки коров и овец, возвращавшихся с пастбища. Перед хатами уже стояли наши квартирьеры, высланные от взводов распределить

помещения. Входили в свою хату и мы, офицеры и ветеринар, который на походе ехал позади с обозом. Наш общий вестовой уже расставил походные койки. Мы умывались на дворе, где из подворотен глазели испуганные ребята. В помещении хозяйка, затаившая против нас зуб, так как знала что за все, что она для нас стряпает, будет мало заплачено, ставила на стол куриный суп, яйца, огурцы и каравай хлеба. Пока она носилась между печью и столом, под ноги ей лезли куры, кошка и петух и она каждому из них кричала: „Кабы сдохла! Кабы сдох!“

***

Но куда ведут эти веселые воспоминания? Молодому корнету в двадцать три года не был понятен ужас гражданской войны, но стоит ли это записывать?

Вот как изобразил свой жизненный опыт, без осуждения ни оправдания, китайский поэт две тысячи лет назад:

ГУСИ И ОЗЕРО

Гуси летят между небом и темной водою,
В озере их отраженье на миг появилось.
Гуси не знают, что озеро их увидало.
Воды не знают, что стая гусей пролетела.

Это успокоение или соединение в единое целое разрозненных частей жизни. Вероятно китайский поэт был очень стар, он вышел из спора между добром и злом, из всех различий, из всех видов гражданской войны. Свою книгу Лао-Тсе написал, по преданию, в тот день, когда покидал родину и уходил навсегда в эмиграцию. Его попросил написать эту книгу офицер пограничной стражи. Точное заглавие — „Книга мироздания и совести“. И мудрец, не слезая с буйвола, записал восемьдесят один стих книги Тао.

Он открыл Большую Природу: все Млечные Пути и пути человека, который тщетно пытается понять умом, что такое жизнь. Почему ничего нельзя понять умом? Потому что мы, как рыбы, живя в океане жизни, не можем ни увидеть океана, ни выйти из него.

Жизнь обращена к чувству, к совести, не к уму и она находит свое выражение скорее в поэзии, чем в философии.

Но гражданская война была ужасна и, конечно, я это чувствовал. С точки зрения количества убитых и раненых она была легче, чем Первая Мировая война. Но в одном гражданская была труднее и опаснее, особенно для офицеров: если попал в

плен, не жди пощады и готовься вынести мучения, о которых нам рассказывали свидетели, крестьяне тех сел, где мы останавливались ночевать.

Поэтому надо было готовиться к тому, чтобы в случае, если окажемся в безвыходном окружении, успеть в последнюю секунду пустить себе в лоб или в сердце пулю из нагана. Малейшая задержка принесла бы в тот же вечер такие ужасы, каким сейчас могут поверить только бывшие участники той войны.

Оказаться в плену можно было не только в сражении. В любой час ночи неприятель мог окружить занятое нами село. На наше сторожевое охранение положиться нельзя было, сколько бы раз ни выходил их проверять: даже если бы они не задремали под стогом сена, что бы они могли сделать? Прогремит несколько выстрелов и вот уже по улице скачут всадники в буденовках — и конец. Выбежать на двор, перебежать поле — это только отстрочить гибель на несколько минут.

Каждый человек хоть раз испытал главный экзамен, который наложил печать на всю дальнейшую жизнь. Для нас таким экзаменом была гражданская война. Нас становится все меньше, но если встретишь такого на улице или на дворе Дарю, даже не будучи знакомы, мы узнаем друг друга по глазам.

Зато мы совсем не боимся смерти: умереть в своей конуре или в больнице, где и уход и тепло — ведь это блаженство! Доктор облегчит последние дни, священник придет со Святыми Дарами. И сам не заметишь как придет смерть, без ножа, без штыка, в белом халате милосердной сестры.

Смотрю в окно и говорю самому себе: ты ушел из Ялты в Турцию, на Балканы, в Париж. Понял ли ты что-нибудь о жизни, что ты читаешь в книгах тех мудрецов? Но ведь они не старались находить точное слово, они знали что любое слово равноценно всякому другому. В сущности ты никуда не пришел и всюду оказывался у себя дома.

На Бельвилль опускался вечер. Под окном заворачивал переулок фабричного пригорода, будто русло пересохшего канала. Люди возвращались с работы. За кирпичной трубой завода распласталось продолговатое облако, точно большая рыба или розовый крокодил.

УЧИТЕЛЬ

В то утро было очень трудно проснуться, как всегда бывает, когда после ночного дождя наступает ненастный рассвет. Сквозь сон я слышал слова: „учитель, учителя привели“. Диди спросил в чем дело.

Оказалось что вчера, на захваченных красноармейских подводах, пытался убежать помощник учителя из этой деревни. Здешние жители выдали его нашим солдатам, сказали, что он коммунист и агитировал против нас.

Мы оделись и Диди велел ввести учителя, дожидавшегося с солдатами на дворе. Вошел, вталкиваемый солдатами, совсем молодой человек, с белесыми волосами, в очках. У него дрожали кисти рук.

Два солдата, розовощекий Залесский, из кадетского корпуса, и еще один, стали у двери, один против другого, с обнаженными шашками. Я испугался, что сейчас начнется суд и расправа, но увидев в окне людей второго эскадрона, ехавших на сборный пункт, стал надеяться, что не успеем и отпустим этого учителя.

— Кто ты такой? — спросил Диди, не повышая голоса.

— Григорий Шатько, местный учитель.

— Тебя обвиняют в том, что ты коммунист. Это правда? Имеешь партийный билет?

— Сочувствующим был, — пробормотал учитель, но так неясно, что солдаты вероятно не расслышали.

— Что такое? — заорал Диди. Еще тогда и особенно после, вспоминая эту сцену, я читал в глазах нашего командира, как он пытается подсказать обвиняемому: „На кой черт ты это говоришь? Ну кто тебя просит сознаваться?“

Но вслух, быстро обежав глазами столпившихся солдат, еще настойчивее, явно подсказывая, командир продолжал допрос:

— Что такое? Социалист, меньшевик, сукин сын, да? Почему хотел бежать, говори...

— Кандидат в партию, сочувствующий, — в обалдении пробормотал учитель, губя себя.

Лицо Диди перекосилось, но не гневом, а скорее жалобным отвращением и бросив на ходу вахмистру Никифору Яковлевичу: „Распорядитесь тут, меня вызвали в штаб", он, не оглядываясь, вышел из избы и прошел через двор.

— Понимаю, — сказал Никифор и тоже вышел на двор. За ним пошли все солдаты, кроме двух часовых, не двинувшихся с места. — In two minutes he will be hanged (через две минуты его повесят) — сказал Андрей уходя и я понял, что так и будет.

Я решился взглянуть на учителя. Догадывается ли он, что сейчас с ним сделают? Учитель стоял между часовыми и пристально смотрел на меня.

— Подойдите, — сказал я. — Водки хотите?

Он будто стал соображать скрытое значение моих слов. Лицо его передернулось и в глазах я увидел вопрос. Вероятно мои глаза ответили правду, но я только спросил:

— Закурить не хотите? Он сделал знак, что нет. Я видел как за окном Синицын обвязывает веревкой крепкий сук дерева и пробует, прочно ли.

— Вы верующий — спросил я. Он, казалось, не понял.

— Молитесь, — почти крикнул я. Подросток Залесский посмотрел на меня с удивлением, хотел что-то произнести, но промолчал. Обнаженная шашка, которую он держал перед собой, задрожала. Скоро ли конец?

Со двора закричали: Ведите арестованного! Часовой взял за рукав учителя, тот переступил два шага, потом рванулся ко мне: — Закурить дайте! Я дал папироску и сам зажег ее.

Со двора донеслось: „Эй вы, скоро ли там?" Голос часового: „Ну, пошли, марш". Тяжелые шаги в сенях, потом со ступеней крыльца и по двору — заглушенные.

Я один. Жужжание мух. На дворе крикнули: „Становись на ящик, е. т. м.!"

Заставляю себя открыть глаза и смотреть в окно. Учитель стоит боком ко мне, под деревом. Его голова возвышается надо всеми. Ног его мне не видно. Он затягивается папиросой, потом бросает ее.

Кто-то, кажется Синицын, перекидывает ему веревку через голову сзади — точно ребята играют. Другой выбивает из-под него ящик. Я отворачиваюсь. Нет, я должен досмотреть до конца, чтобы знать, как это происходит. Ведь и со мной когда-нибудь сделают это — предлог всегда найдется.

Окруженный солдатами учитель еще стоит выше всех, хотя голова его склонилась набок. Чего они теперь ждут? А, вот что: тело учителя вдруг явственно вздрогнуло. Тогда, подождав еще чуть, Никифор сказал: „Айда, ребята, по коням". А меня забыли? Срываюсь и бегу к лошадям, сторонясь дерева.

Лошади шли недостаточно быстро. Скорее бы оставить эту проклятую деревню и забыть. Чем больше ляжет полей между деревней и нами, тем будет легче. Прошел час, может быть больше. Вокруг поля и рощи, я качаюсь в седле на обычном своем месте в середине колонны, как пан хорунжий в песне о Сагайдачном. На повороте дороги вижу далеко впереди нашего командира. Подъезжаю рысью к нему, слышу мой голос говорит: „Разве это было необходимо?" Голос Диди: „Ты про учителя? Ну да, им это нужно. Вчера была неудача, промазали обоз и батарею. К тому же убит Лушин, которого все любили. В свое время у каждого из них убили, изнасиловали, разорили, сожгли. Помешать нельзя было. У нас в полку еще слава Богу, у других много хуже. Боже мой, как все это надоело, если бы ты мог знать, дорогой мой Медведь Иваныч!"

На сером небе стали появляться синие просветы. Горизонты очищались от тумана. Позади меня Савицкий рассказывал о каком-то невероятном своем выигрыше в карты. „Я за это не отвечаю". Кто отвечает?

Выглянуло солнце и засияли омытые луга. С каждым шагом лошади, волнами входило и заливало сердце новое восприятие мира, тягостное, но не безнадежное. Мир менял свой состав — твердел, принимал более отчетливые очертания. А на фоне нового мира где-то позади качалось тело под деревом, но и это и чуть ощутимый запах тления не нарушал новой гармоничной картины мира. Я физически окреп за последнее время и хотелось все глубже вдыхать благовония осенних просторов.

Днем на привале я заснул на сене. Мучил кошмар. Будто все уехали в поезде, забыв меня, а я бегом стараюсь догнать, в то же время спасаясь от преследования. В этом сне я испытал предсмертную тоску и может быть саму смерть, которая не принесла ни забвения, ни облегчения.

Как ни мало, но все же в детстве я знал благодать и радость, разлитую в природе. В эту неделю начала сентября 1919 года ушел под землю или пересох источник слез, который есть вода жизни. Я не сознавал, что происходило во мне или вокруг меня. Все ломалось: хрусталь воздуха, облака, листья деревьев, весь мир превращался в стекло и рассыпался с легким хрустом. Я приглядывался и даже не жалел о прежнем, ходил как в забытии. „Если так, то туда тебе и дорога", думалось мне об усыхающем мире.

Пора и самому окостенеть. И когда этот процесс окончательно завершился, предстал новый мир из нового материала, подобного плотной резине, без звучания, без струящихся ароматов, без текучести, зато окрашенный в удивительно густые краски: в чугунно-темное индиго, в пронзительно зеленый купорос. Я впервые заметил и удивился эффекту ядовитой зелени тополей на фоне грозовой синевы в конотопском сквере.

В ту пору я с азартом полюбил декорацию четких линий и отчетливую, без переходов, окраску кустов и соломенных крыш, как у второстепенных немецких художников .

Я не умер в те первые месяцы войны, только был оглушен. Так заработала внутренняя машина, та, которая защищает нас от безумия и к которой я не испытываю ни благодарности, ни уважения.

ВОЛЧЬИ ЯГОДЫ

1918 год, начало осени. Никто за мной не наблюдает, целый день все брожу и о чем-то думаю. Вязну в сырой земле, ноги горячи от крапивы и полны заноз — я хожу босой.

Перед тем как войти в лес, забрел на кухню, чтобы утащить огурец или яблоко, но делаю вид что вытаскиваю занозы из ног.

Лес начинается не сразу — сперва надо пройти сквозь заросли кустов. Иду на одних пятках, которые грубеют быстрей и не так чувствительны к колючкам. На кустах листья блестят, будто сделаны из металла и свисают черно-малиновые ягоды. Говорят, что это „волчьи ягоды“ и что их опасно есть, но все же решаюсь попробовать, узнать яд или не яд. От одной ягоды не умру, ни от трех, ни от пяти.

Оказались по вкусу кисло-сладки, как наша жизнь, и довольно питательны. Я не умер и, кажется, долго дремал под кустом, потом пошел в глубь леса, продолжал дремать на ходу. Вдруг заметил, что лес кончился, и уже спустились сумерки.

Край неба на горизонте лиловеет, выше переходит в дымчатое сиренево-розовое. Огромное оранжевое солнце подернуто кисейным занавесом, оно медленно опускается в мягкую ванну облаков.

Большие птицы низко кружатся над полем, высматривая мышей, в поле женщины убирают солому, складывая ее в золотые скирды, высокие, как избы.

Вокруг сжатые поля, поля без края. Все будто притаилось и ждет, вот-вот что-то случится. Но что? Непоправимое плохое, тревога вокруг разлита.

Обнаруживаю много ягод в карманах моей солдатской шинели. Все темнее дорога, одинокие сосны вырастают в чудовища. После узнал, что из леса за мной вышел серый волк, это видела жена сторожа на полустанке.

Мой путь проходит мимо полустанка, который носит странное название „Раздеришино“. Сейчас его хотят переименовать в

„Зарю Ильича“, но ходит слух, что в районом совете не согласны: Кто разрешил? На каком основании? За какие заслуги такая честь вашему полустанку? Пусть переименуют, но просто, например, в „Новый Луч“.

Мне 21 год, кажется, влюблен и сажусь ждать на скамье на платформе полустанка, хотя поезда здесь не всегда останавливаются. Все равно, посмотрю в окна вагонов на проезжающих мимо. Моя влюбленность переносится на все женские лица, мелькающие в окнах. Все эти лица кажутся мне нежными, грустными, немного таинственными. И, кажется мне, всякая из них, выйдя здесь, непременно подружится со мной и будет тронута моей нежной преданностью.

Когда пыхтящий и обдающий меня облаком пара поезд улетает в синюю даль, казавшуюся утром из окна такой близкой, я неспешно возвращаюсь домой, сбивая попадающиеся нескошенные у края дороги колосья ржи и овса. Тень ползет за мной, все поле колеблется от ветра и шелестит, низко плывут облака.

***

Дома меня встречают обеспокоенные родные, прося прекратить прогулки на полустанок — им уже рассказали, будто меня чуть волк не разодрал. Но и помимо волка продолжать оставаться здесь опасно. В городе тоже будет не сладко, но все же спокойнее.

Я молчу. Знаю, что в городе никто не выйдет, печальный, из вагона, и все очарование ожидания я оставляю здесь, на дороге к полустанку. Пусть этот дом разваливается, пусть превращается в пустырь сад, а парк и пруды в лесные болота, где растет одна крапива и бурьян. Пусть в нежилых комнатах некуда спрятаться от ветра — все равно, здесь я нашел и накопил что-то очень важное, что может никогда не возвратиться.

Керосинка на кухне капризничает, разгорается с трудом, наконец зашипела и горит как следует, ровным огнем. Кто-то ходит по пустому дому, в этажах хлопают двери, и вдруг ветер яростно захлопывает сразу все окна и задувает огонь на кухне. Мы закрываем ставни, какие еще держатся на петлях, переходим из комнаты в комнату, с шумом передвигая попадающиеся на дороге хромые стулья. Пшенная каша не спеша согревается в медных кастрюлях, мы сидим в разных углах в волосатых тяжелых креслах, стараемся углубиться в найденные книги и почти не разговариваем.

Да, мать права, какой смысл скучать в этих хоромах и ждать гостей из сельсовета с приказом, не мешкая, очистить помеще-

ние для больницы или для школы. Мы не зажигаем лампу, зная по опыту, что на свет собирается такое количество бабочек, жуков и комаров, что заснуть будет невозможно. Поэтому укладываемся спать в темноте.

На стенах в полутьме виднеются знакомые с детства картины, прадеды привезли их из Италии в век Карамзина. В моей комнате висят литографии с изображениями Везувия, извергающего дым и пламя. И еще репродукции фресок, сохранившихся на стенах Помпеи — приморские пейзажи с колоннами и богинями на белом фоне.

Думали прадеды в париках про гибель наших Помпей? Вернее, они просто следовали парижской моде и никак не предвидели наших будней, голода, холода, ни того, как мы будем собирать в лесу ягоды, сыроежки, опенки и рыжики, подобно отшельникам древних времен.

Перед сном вспомнил о ягодах, оставшихся в кармане. Они превратились в черную лепешку и я съел ее, всю сразу.

Неожиданно загремела музыка. Не дребезжание из зала от фортепьяно со ржавыми струнами, а грандиозный симфонический концерт. Что это? Если то смерть пришла за мной, я готов.

Слушайте, мне нужно успеть сказать. Не важно, если вы не услышите и не поймете. Каждый из нас оправдан и свят, такой как он есть, особенно если он этого не подозревает. И ничто вокруг нас не погибло, особенно если самому не стараться быть долговечным.

Мы не там ищем вечность, где надо, она не во времени, а там, где нет никакого времени — жизнь и вечность создаются во мгновении. Там нет накоплений.

А как обстоит дело с моим „Я“? Что если сейчас ворвутся рабочие с полустанка — они что-то замышляют и сегодня косо смотрели в мою сторону — выйдут из темноты, уведут, поставят под дерево и расстреляют? Куда уйдет моя вечная сущность?

Но что можно знать об ускользающем „Я“? Это не алгебра, не история с географией. Правда, сказано: „познай самого себя“. Но когда тебе покажется, что твой разум узнал, что значит „Я“, тогда окажется, что ничего ты не понял и напрасно пытаешься что-то объяснить.

ХУТОР ВО ФРАНЦИИ

Дом, в котором мы будем жить этот месяц, стоит в саду. Сад такой запущенный, что, идя к дому, нужно пробивать дорогу сквозь заросли крапивы. Уже несколько лет здесь никто не живет.

Окна частью разбиты, частью не закрываются. Высокие кусты шиповника и бузины вплотную загородили окна нижнего этажа и кое-где ветви пролезли в комнаты.

Все это было бы очень приятно, если бы в доме не развелась сырость и не обосновались насекомые. Целая армия членистоногих и перепончатокрылых завладела домом и с первой же ночи повела на нас атаку. Белые ночные бабочки с холодными брюшками носятся от окна к постели и щекочут лицо и руки как только тушится свеча. Им на помощь прилетают комары и еще какие-то жучки с твердыми крыльями. К утру, когда ночная армия утомилась, ей на смену вместе с первым лучом появляются мухи, потом слепни, самые тупые и неповоротливые из всех наших врагов.

Сны наяву. Проснулся к шести. Небо будто фарфоровое, ясное, бледное с небольшими, легкими, розовато-золотистыми с краев облаками. Чуть-чуть зеленело, потом стало голубеть, усиливая бирюзоватость. Не знаю долго ль смотрел. На небо смотреть — теряешь ощущение времени. Сошел в сад в деревянных калошах (сабо). Стало тепло и прозрачно, во всем прекрасная, уже осенняя нежная ломкость.

Вдруг выплыл из памяти — день воскресный, праздничный, какая-то светло-желтая пыльная дорога, только пыль улеглась, утомленная жарким летом. Согретые солнцем виноградники, какие-то белые, тихие, пустые дома, много желто-коричневых бархатцев вокруг. Тишина, где-то жужжат пчелы на солнце, мерещится (но может она тут же, рядом со мной наяву) какая-то женщина, немолодая, на голове повязан шелковый платок-косынка, с лицом тихим и внушительным, кругом значительная тишина, точно притаилось что-то важное, строгое, нежное.

Аромат винограда. Я не слышу голосов, я лежу на траве у куста георгин. Где я? Что это, сон — или же память выбросила некий утерянный день моей жизни? Не знаю, не узнаю периода жизни. Сколько мне лет? Семь или пятнадцать? Может быть, я в деревне у бабушки. Это мои поздние догадки, ни к чему не ведущие. Тепло, торжественно тихо, праздник разлит во всем.

И вдруг страх — сейчас мир разобьется, тепло выльется, исчезнет, все потемнеет вокруг, омрачится, потонет.

⁂

Надо мной шелестит густою листвою платан. Я лежу на шезлонге. Солнце перешло далеко вправо, а я все продолжаю неподвижно вспоминать. Шелест деревьев меня переносит в другие сады (садами, уже три четверти века украшалась жизнь) — и вот надо мной уже шумит, низко склоняясь тяжелыми ветвями, старый орешник. Теперь я лежу на траве, голова на копне сена, их много копен меж деревьев ютятся.

Солнце склоняется к западу. Где-то близко слышны знакомые голоса, я еще не научился говорить и не знаю и не хочу знать, о чем они говорят. Понимаю чей-то радостный смех на лугу, луг мне виден за стволом орешника. Меня принесли в этот сад, положили под дерево, тут так тихо, теплом пахнет сено, трава, и высоко качаются листья. Я не знаю названий всех этих вещей.

Вдруг длинная прохладная тень поползла вдоль моего лица, вечер склонился к моему плечу и чьи-то руки подняли меня и понесли. Подо мною пыльная дорога в ухабах, сбоку желтые поля, мимо тяжело катятся нагруженные золотой соломой длинные арбы, медленно переступают с ноги на ногу красно-коричневые и серые волы. Вот они прошли, в соседней деревне лают собаки, радостно встречая возвращающихся.

В детстве все было залито солнцем, смутно помню дождливые дни. Теперь бывший младенец устал смотреть на небо и рассматривать привидения животных и людей, плывущих между белых облаков. И вдруг испугался, точно потерялся, растерянно попытался улыбнуться и, кажется, навсегда проникся сочувствием ко всему и к себе:

Soi-même on cherche à se sourire.
Soi-même on a pitié de soi.

Не помню, кто это написал, кажется Поль Элюар, мой сверстник.

Что это я расписался о снах? А жизнь людей забыта, близка и забыта, дня через три поезд примчит нас в Париж и сдаст в объятия жизни.

Грузный, ненужный багаж на хранение, кому же эти мечтания мои о рае, утерянном в детстве? Слишком печален тот рай, трещина в нем и возвратиться в него даже не хочется. Или это только у меня одного воспоминания об утерянном рае так печальны?

Вот и месяц прошел, о жизни забыл дед, предавшийся снам. Но не будите — сладок мне лотоса вкус, хоть и странной печаль этих слов показалась Одиссею у Лотофагов. Странной и подозрительной. Как же это так, не желать возвратиться в Итаку?

Ветер шумит, все шумит, точно грозит прекратить последний сон.

ОБЛАКА

Я сижу на еловой скамье. Внизу обрыв, там течет Воря. Темные сосны окружают поляну, наверху застыли белые облака.

Со мной книга — „Мир как воля и представление“ Шопенгауэра в переводе Фета. Под влиянием этой книги мне кажется, что я нахожусь не в Отрадном на берегу Вори, а среди гор Брамапутры, что Россия осталась далеко позади, что на самом деле ничего никогда не существовало, ни Отрадного, ни книг, ни Индии, ни меня самого. Все это было лишь мое представление, начиная с этого парка, про который кто-то сказал: „В саду шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи“.

Незаметно проходило лето, а зимой мы неожиданно превратились в боярыню Морозову и нас повезли на дровнях в „Слон“ — Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Такова судьба, как недавно прочел у Осипа Мандельштама:

„А после, на дорогах в сумерки
В навозном снегу тонуть...
Какой сумасшедший Суриков
Наш последний опишет путь?“

Но все меняется, хоть и не сразу, и вот прошли годы и в Риме началось новое лето, не менее светлое и загадочное чем первоначальное.

Год от основания Рима 2725, число — Июльские Иды. Теперь кто-то сидит на каменной скамье, на каменный стол опираясь в парке Траяна, около Колизея. На этом холме Нерон построил для себя Золотой Дом, но еще до Траяна все прежнее было основательно разрушено, так, чтоб и памяти не осталось. Сохранилась часть арки, три ступени лестницы, холодное подземелье, несколько гранитных глыб.

Кто опирается на каменный стол? Старый, бурый, малозаметный, невзрачный лицом. Он переживает без сожаления

историю всех развалин, своих и чужих. Около него текут смутные воспоминания — семейные, исторические, эротические, но как что-то постороннее. Вероятно, между предисловием и заключением осталась некоторая связь. В главном жизнь не меняется, и никакие революции тоже ничего не меняют.

О чем думает старик, когда ему не спится? О Священном Писании, где записано что-то чрезвычайной важности. Остальные книги можно не читать. Сознательно или нет, старый человек подготовляется к смерти.

Что останется от моих воспоминаний для меня после смерти, — понять нельзя, никакие усилия не помогут. Говорят, что можно узнать о тайнах жизни и смерти через посредство большой музыки или очень хороших, не совсем понятных стихов, но Священные Книги предупреждают не увлекаться этим. Искусство — это игра для подростков. Истина является для чтеца Священных Книг сама собой, когда сама захочет и только на один миг.

Что сейчас засветилось вокруг? Зеленая трава на лугу, но не от солнца — оно зашло за облака — а собственным внутренним сиянием. Сияют высокие кусты с белыми цветами, искрятся кипарисы и сосны, стена Колизея и струя фонтана. И еще глаза одичавшей кошки, осторожно выползающей из-под куста в надежде, что старый человек бросит ей кусок колбасы.

„Тысячи верст я иду, но куда?
Белые тучи укажут мне путь“,

так записал очень давно китайский странник в горах Тибета. Вечером он остановился в харчевне и записал так: „Кто не успел к старости себя узнать, вносит тягостное недоумение, куда бы он ни явился“.

ГИТАРА

ОСЕНЬ 801 Г. ПО Р. Х.

Перевод с английского текста, который является переводом с китайского. Имя автора — По-Чу-И.

Однажды вечером я провожал моего друга, возвращавшегося в столицу. Осень шумела в листьях платана. Мы сошли с лошадей и сели в лодку.

Налили вина, но не хватало музыки: опьянение не превращалось в веселье, мы оба оставались печальны. В ту минуту, когда луна вышла из-за тучи, над водой послышался звук гитары. Я забыл, что мне нужно возвращаться, мой друг забыл, что ему пора уезжать.

Звуки прекратились, наша лодка изменила направление, мы ищем ту, которая играла в темноте. Снова наливаем вина, зажигаем фонарь. Подъезжаем к берегу, зовем, кричим.

И вот она выходит из-за кустов, закрывая гитарой часть лица. Она натягивает струны, берет аккорд, и мы еще не разобрали мотив, как волнение нас охватило. В каждой струне боль, в каждом звуке воспоминание.

Ее глаза опущены, ее пальцы ходят по струнам, она раскрывает, ничего не тая, все, что лежит у нее на сердце. То она ударяет по струнам, то еле касается их, то останавливается и замедляет, то летит.

Она играет „Покрывало Радуги". Басы журчат, как летний дождь, верхние струны звенят, как голоса, и кажется, будто большие и малые жемчужины падают на дно серебряного сосуда. Это жалоба иволги, проскользнувшей под цветами, это ропот ручья на песке. Струны напряжены, они сейчас порвутся.

Но вот звуки замолкли, все остановилось, и это мгновение тишины еще больше волнует нас. Вдруг всем показалось, что вокруг собрались всадники в железных доспехах. Заблестели мечи и копья. Но уже ария закончена, женщина соединяет все

четыре струны в единый звук и отдает до конца свое сердце, как если бы разорвалась шелковая ткань.

Лодки на востоке застыли в молчании, луна склонилась над серединой реки.

Вздохнув, она вставила в струны черепашью кость, которой играла, и поправила прическу. Она сказала, что родом она из столицы и дом ее был у Лягушачьей Горы. В тринадцать лет она овладела искусством гитары, учителя хвалили ее талант. Среди знаменитых куртизанок Ву Линг не знала соперничества ни в нарядах, ни в чем. За одну песнь ей несли без счета подарки. Она ломала серебряные гребни, отбивая ими музыкальный такт, она разливала вино на свои платья. Лето и зима проходили среди смеха и веселья, она не замечала ни осенней луны, ни весеннего ветра.

Годы промелькнули, красота ее стала меркнуть. Все пустыннее становилось перед ее дверями, все меньше всадников проезжало по ее улице. Тогда она вышла замуж, и теперь она жена купца. Муж жаден до денег, он легко оставляет жену. Уже месяц, как он уехал за товаром. Каждый вечер приходит она к этой реке. По ночам, когда лодки качаются под луной, вспоминает она свою жизнь.

Я вздыхал, слушая пение гитары, но теперь мои вздохи усилились. Оба мы сосланы на край земли. Чтобы стать друзьями, надо ли было нам встретиться раньше? В прошлом году мне пришлось покинуть столицу, я живу в изгнании. Город ничтожный, здесь музыки нет, уже год, как я не слышал оркестра. Что здесь можно услышать с утра до ночи? Только кукушку или жалобный вопль обезьян. Да еще песни горных певцов и флейтистов, но их разногласия мне тяжело выносить. В эту ночь, услыхав говор вашей гитары, я весь загорелся. Не откажите же снова присесть и вторично сыграть нам, а я, между тем, напишу вам „балладу гитары“.

Так я говорил, и слова дошли до нее. Долго стояла она без движения, потом села и снова коснулась струны. И звуки ожили и куда-то опять понеслись. Был печален и этот момент, но по-иному. Все, кто собрался вокруг, спрятали лица. Но кто больше всех волновался? Это я, По Чу И, старик должностной человек в изгнании. Мое черное платье промокло от слез.

⁂

С этим стихотворением в прозе мы вступаем в золотой век классицизма, в эпоху династии Танг (7-10 век по Р. X.). Поэзия достигла предельной простоты и естественности. Все, что от тех

времен сохранилось, овеяно воздухом легкой прозрачной осени. Несколько столетий спустя, критик напишет про эту „Гитару“, что произведения такой простоты „появляются раз в тысячу осеней“ и что „совсем не легко с подобной естественностью рассказать про первое веяние новой любви“. Словесное искусство, музыка и пейзаж соединились в ту полную совершенства гармонию, когда само искусство как бы исчезло, и когда нельзя сказать, что преобладает: образы или звуки, чувство или созерцание. Читающему кажется, что он сам присутствовал при этой сцене в ту лунную ночь, спрятавшись среди кустов.

Перед этой эпохой Китай прошел уже через две тысячи лет культурной жизни. Уже давно страна объединилась под одной центральной властью, и уже не раз испытал нашествие северных варваров, то гуннов, то монголов. Несколько раз, в результате гражданской войны, сменялись династии. Каждая из них начиналась с энергичного завоевателя, потом, два-три столетия спустя, правящая семья ослабевала, вырождалась, наступал период политического упадка, который иногда совпадал с расцветом поэзии.

Краткость — свойство этой поэзии. Достоинство стихотворения не в том, что оно прямо говорит, а в том, что подразумевает, как в живописи, где ценится намек, легкое прикосновение кисти.

Такой родилась китайская акварель, все эти персонажи в садах, в облаках, среди гор и водопадов, спокойные, счастливые и таинственные. Нельзя понять, чем эти люди заняты и почему художник выбрал именно этот момент, чтобы передать его нам. И начинает казаться, что, как и в стихах происходит остановка времени: мгновенье превращается в вечность и включает в себя все, что было и что будет.

Вообще же китайское искусство одновременно реалистично и символистично, но символизм здесь глубоко скрыт, как в природе или как во сне, и каждому предоставляется понимать смысл, как ему хочется.

СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Русские друзья, у которых я жил в Риме, в этот вечер вызвали дух Гоголя на спиритическом сеансе. Было много женщин, а среди мужчин оказался старый доктор-психиатр, ему было под девяносто лет. Все уселись за круглым столом и, после не долгого ожидания, дух Гоголя обнаружил свое присутствие, и стол зашевелился.

Задали первый вопрос: — Встречаешь ли ты Пушкина? Главный медиум была пожилая женщина с браслетами и синим ожерельем из крупных бус.

Ответ: — Иногда случается.

Вопрос: — Пишет ли Пушкин и там стихи?

О. — Как будто пишет, иногда.

В. — И хорошие выходят стихи?

О. — Ничего себе, вроде ваших.

Среди нас была поэтесса, Пелагея Петровна. Она недовольно нахмурилась. Старый доктор кашлянул, чтобы скрыть улыбку.

В. — Ты бы мог прочесть нам что-нибудь из тех стихов? В каком они роде?

О. — Память отшибло. А стихи иногда текут через силу, как в канале вода, то вдруг прорываются как водопад.

Одна из дам, в сторону: — Совершенно гоголевская фраза.

В. — Можно ли вызвать дух Данте?

О. — Нельзя, он живет в другом доме.

В. — Как, разве у вас есть дома?

О. — Имеются, но не совсем как у вас. Вы все равно этого не поймете.

В. — Я бы хотела поговорить с Нероном.

О. — Не задавайте глупых вопросов, не то я пошлю вас козлу под хвост.

Одна из дам: — Очевидно, что только Гоголь мог так сказать! Под козлом он подразумевает дьявола. Другие подтвердили: Это он, не может быть никаких сомнений.

Доктор задает вопрос: — Кто сказал про козла?

О. — Про козла или козу сказал не Гоголь, а Ворошилов.

В. — Как? Разве Ворошилов умер? В газетах ничего не было...

О. — Да. Я всего пять минут как умер и об этом вы прочтете через три года в газете „Фигаро". В следующее воскресенье подайте записку за упокой души грешника фельдмаршала Климентия.

Одна из дам: — Я убеждена, что все же это был Гоголь, а не Ворошилов. Чисто гоголевский юмор! И характер не исправился.

Потом, за чаем спрашивают меня: — Ну как, вы теперь убедились? Что вы думаете об этом сеансе?

„Думаю что происходила какая-то чертовщина. Слетелись мелкие бесы, домовые может быть из нашего же коллективного подсознания. Но все это вовсе не невинно, а вредно, потому что засоряет соображение и мешает посмотреть в глаза действительности, взглянуть в простоте на тайну жизни.

— Но все же, кто-то с нами сообщался?

Будто вы сами не знаете! Мелкие лешие хихикали... Такими сеансами мы баловались в Петербурге накануне революции. И в прошлые века, в эпохи упадка, люди развлекались вызыванием духов, различными способами. Например, это делалось при дворе Гелиогабала, в 3-м веке.

После таких развлечений остается неприятный осадок, душевная опустошенность, как после обычного ночного пирования с вином.

Для того, чтобы войти с нами в сношение чтобы сообщить нам что-то важное, наши близкие с того берега не стали бы прибегать к прыгающим столам или к тарелкам с азбукой. Ушедшим от нас, в некоторых случаях, когда это им или нам необходимо, дана возможность являться в вещих снах или даже наяву — об этом все читали в Священном Писании и в Житиях.

Ничего значительного мы не услышали, все какие-то прибаутки, как на светском обеде 1916 года. Это был отблеск того „Смешливого ада", о котором упоминается в Четьи-Минеях.

Кто нам отвечал, кого мы приняли за Гоголя? Неловко было слушать. Шустрый коллежский регистратор нарядился в зеле-

ный фрак и серый цилиндр... "Ну что в этом вертопрахе было похожего на ревизора? Ничего похожего. И вдруг все: ревизор, ревизор!"

⁂

Когда после полуночи все разошлись, старый доктор зашел ко мне. Он сказал:

— Коллективное подсознание, освобождающееся на спиритических сеансах, выбалтывает много глупостей. Но есть во всем этом и кое-что серьезное. Замечание о разных домах в состоянии « post mortem » — это опровержение наивного монизма, по которому выходит что „там" все сразу смешивается в одно целое. Ведь если здесь каждый проявляет себя по-разному, почему там все вдруг должно слиться в одно безличное облако? Вернее, что религиозный опыт многообразен и что сверх-сознание другой жизни подобно тому, что мы испытали на земле.

Выражение „различные дома" надо понимать в астрологическом смысле, как в гороскопах. Или, пример из архитектуры, как разные стили колонн: стиль дорический, ионический, коринфский. Мы думаем об этих основных эллинских стилях, как о психологических стилях, как о психологических различиях эпох: сперва дорическая простота, как в стихах Ломоносова и Державина; потом ионическая, пушкинская гармония в высшей полноте цветения; и, наконец, коринфское изысканное начало декаданса, после чего надо ожидать нового возрождения в простоте. Ни домов, ни металлов в алхимии нельзя понимать буквально, все это символы различных психических этапов. „Дома" — это указание, что и там имеется нечто подобное нашему разделению. Значит там мы встретимся и с последовательностью событий или с каким-то отблеском времени.

Вы им сказали, что то был не Гоголь, а оборотень, что настоящий Гоголь вел бы себя иначе, не столь вульгарно. Но все же наше коллективное подсознание воспроизвело довольно удачную карикатуру. Домовые из наших недр дали искаженное, пошловатое сходство — иначе они не могут. Это был скорее кошмар о Гоголе, но ведь Гоголь очень подходит для таких сеансов. Когда пробуют вызвать дух Толстого — ничего не получается. Впрочем, это может быть оттого, что общего мнения о Толстом еще не сложилось.

Когда старые знакомые дружно усаживаются за стол и молча соединяют руки, они входят в состояние единомыслия. Разъединение временно исчезло, взаимные неприязни утихли и наступило подобие соборности — конечно, не церковной, а как

у австралийских дикарей. Никто не изолирован, все стали как природа, беззащитны, как отара овец.

Это подсознание, долина на берегу Стикса, — но, повторяю, ничего общего с надсознанием святости.

Особенных откровений не приходится ждать, поэтому я никому не советую этим увлекаться. Здесь не полный обман чувств, скорее наркоз, коллективное опьянение алкоголем.

Но опьянение водкой или опиумом в одиночку еще опаснее и ведет к худшим разрушениям психики.

СОН В РИМЕ

...Вечером вернулся к себе пешком. Среди переулков Колизея небольшая круглая пиацца Дельфино. Посредине пиаццы фонарь, фонтан и черная сосна. Сидит мохнатая собака Орсо (медведь).

Вокруг вытянулись вверх старинные дома — три окна по фасаду, среди них остерия и локанда третьей категории, под вывеской „Дельфино". О ней художник Александр Иванов упоминает в письме Гоголю в Москву: „До позднего часа просидел с Вельегорским в „Дельфине", пили колдовское вино".

Тут же торговля сувенирами, но туристы сюда не заезжают — трудно автомобилям добраться по узким крутым переулкам.

За площадью на возвышенности совсем темно, там имеется парк Траяна и когда-то стоял Золотой Дом Нерона, это тоже заколдованное место. Утром я хожу туда читать газету. Сейчас заказываю пол-литра сицилианского вина, оно настоено на особенных травах, и хозяйка уверяет, что в отличие от всех других вин, оно является снотворным средством. Еще в прошлые приезды я убедился, что это верно.

Поднимаюсь на шестой этаж в мой номер на мезонине — чердачное помещение. Сон не приходит сразу, но в Деяниях (2,17) сказано: „И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут".

Другое пространство. Мысль создает вокруг своего „я" некое замкнутое пространство. В нашем обычном пространстве нет места для обновления, для творчества, для любви: в нем есть лишь борьба за существование, уныние и страх. Глубокое созерцание (медитация) это выход из сонного пространства и конец „я". И тогда все станет по-другому, потому что в новом пространстве, расширяющемся до бесконечности, мысль не скована и нет разделения на „я и не я".

Обычно мы живем в тесном просторе, порожденном вялой мыслью, которая там приспособилась и плавает по кругу, как

рыба в аквариуме. Мысль бесплодно ищет благодати и этим сразу уничтожает творческий порыв любви. Надо не забыть завтра захватить в парк Траяна книгу Симоны Вейль, где об этом ясно сказано.

⁂

Рим остался где-то глубоко внизу. Некто бестелесный и бесформенный про Рим совсем забыл. С большой высоты расстилались синие моря с заливами и серые океаны. Вот очертания Африки, но Бестелесный и его друг завернули вбок и полетели над чудным полуостровом, куда надо попасть, чтобы там закончить свои дни на земле. Где-то выше, дальше, за снежными горами простерлась огромная равнина, Бесформенный помнил, что родился там в последний раз, но теперь не желал туда смотреть.

Тем более, что ему дали понять, что он может выбрать любую страну.

Он знал, что новая жизнь начнется не сразу, а лет через сто.

Но друг подсказал "Лишь в тех же снегах и соснах ты сможешь применить всю накопленную энергию". И еще: „Ни Индия, ни те страны, где родились и будут жить твои внуки, тебе не подходят. Туда влечет любопытство, сочувствие, но только та страна, на которую сейчас ты отказываешься взглянуть, одна вызывала в тебе волнение души".

— Но ведь это все сны, — пытался возражать первый, — стоит захотеть и сон исчезнет. Как можно решать что-нибудь во сне? Или как узнать о повторных жизнях и о том, что происходит по ту сторону реки...

— Кое-что разглядеть можно, — сказал друг. — Облака на миг рассеются и в просвете станет возможным разглядеть соседнюю комнату или другой берег, откуда нам подают знак рукой. Но легче показать тот берег тому, кто не пытается его разглядеть. У тебя есть друзья, некоторых ты даже никогда на земле не встречал. Они о чем-то хотят спросить тебя. В их числе были твои родители, они улыбаются твоему непониманию и уходят в другую комнату. При жизни они не успели узнать что-то очень важное, что открывается вашему поколению.

Над рекой стоят два пилигрима, один одет во френче эпохи гражданской войны, другой в подряснике. У их ног течет река, глубокая, не широкая. Моста нет. Со стороны моря приплыл дельфин, светлый, с темными пятнами, похожий на морскую волну.

Что это за река? Похоже что Волхов, но отчасти и Тибр, а может быть также Стикс или Ахерон. По эту сторону Ахерона мчатся автомобили, здесь суета и спешка. Из каждого окна огромного Колизея смотрят туристы. Иногда господин или дама выбегают вниз, зовут такси. „И жить торопятся, и чувствовать спешат"...

Какая ошибка! Куда торопиться, когда впереди вечность. На том берегу лес. Видна поляна, на ней изба — простой сруб из сосновых бревен. Сквозь окно виден аналой, на нем раскрытая книга, перед ней горит свеча.

Преподобный Серафим живет в этой избе. На поляне из-под камня течет серебристый ручей. Медведь ходит среди сосен, сторожит, как бы кто не потревожил святого в неурочный час. Но неизвестно, в какие часы старец принимает посетителей. Дети из деревни прибегают к медведю, влезают на него, и он их катает.

Дельфин смотрит веселыми глазами (дельфин юморист и все понимает), он предлагает странникам перевести их на ту сторону. Это безопасно, но как решиться? Тем более, что и отсюда раскрыта вся вечность.

Первый утренний луч проник сквозь открытое окно и зажег миллиарды микроскопических частиц пыли — Млечные Пути, плывущие под крышей мезонина. Только что снилось нечто очень интересное, вся жизнь, сведенная к нескольким картинам: Индия, снежные горы, келья старца под сосной. Ощущение без слов, иначе говоря без мысли, — есть главное и единственное чудо жизни. Оно порождено не мозгом, не сердцем, но одновременно всеми органами чувств. „Пошевели мозгами!" — кричала первая моя учительница, а я упрямо твердил: „не хочу!" Вероятно, был прав я, а не она. Я инстинктом хотел не дробления мыслей или эмоций, а совершенного познания, итога всего, проникновения всего во все. Того созерцания без созерцателя, которое приходит всегда по-новому — и его невозможно и не нужно стараться повторить. Путешествовать по жизни без кодака, зная, что на фотографии все равно ничего нельзя узнать. Все видеть, как на днях из окна экспресса „Палатино" между Парижем и Римом, без узнавания, всегда по-новому, и чтобы не было корыстного запоминания — для очередного газетного очерка.

Какой же глубокий смысл нашего созерцания? Нет глубокого смысла, нет пользы, нет опыта. Есть движение, экстаз, выход из„я", что не имеет отношения к „удовольствию". Такой экстаз придает зрению, слуху, мозгу и сердцу младенческое качество невинности. Без способности видеть все по-новому, жизнь превращается в рутину и теряет всякое значение.

Созерцание — самое важное в жизни, оно открывает дверь в ту область, которая не может быть ни измерена, ни исчислена, ни записана.

Нужно броситься в воду, не умея плавать. Красота созерцания в том, что мы не знаем, где находимся, ни куда несет поток.

К счастью, большинство людей обладает зеркалом души, в котором отражается значение жизни — не так, как она происходит, а то, ради чего мы живем. Без такого зеркала мир был бы лишен своего главного богатства. На нашей земле нет никого, кроме человека, кто был бы способен ставить вопрос о смысле.

На луне мы не нашли ничего, кроме пыли и камней. На какой-нибудь планете, скажем, на одном из спутников Сатурна, быть может мы найдем сотни тысяч разных видов птиц, пресмыкающихся, рыб и насекомых — но если там не выработалось сознание или способность к созерцанию, такая планета окажется не многим интереснее нашей луны. Пусть наше сознание несовершеннно, пусть это только искажающее и мутное стекло, все же оно способно принимать и отражать другой свет, помимо солнечного.

Но уже солнечные лучи, сквозь окно в потолке, заполнили все чердачное помещение, и с площади доносятся звонкие голоса. Это дети, по дороге в школу, играют с лохматым Орсино.

ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ

Ирине Дмитриевне Голицыной

Многие получали знаки из другого мира, об этом иногда рассказывают, но редко кто записывает. Но было бы интересно, если бы все описывали случаи таких сношений. Конечно, не спиритические сеансы, где ничего серьезного не происходит.

Но сны это другое дело. К тому же сон придумать нельзя. По тому как, какими словами сон описан, читающий безошибочно определяет, на самом ли деле это приснилось, или придумано за письменным столом.

Конечно приснившееся связано с нашими воспоминаниями и с размышлениями наяву, но в некоторых снах воспоминания сами собой переплавляются в художественные картины, иногда в символические образы. Читатель получает пищу для размышлений.

Один из больших французских писателей, с кем мне посчастливилось встречаться, на мой вопрос, почему он не опишет то или другое, чему был свидетелем (война, первая любовь, воспоминания детства) — ответил так: „я не могу ничего описать, пока еще раз не увидел это во сне, и притом не один раз“.

Не все сны имеют значение, но и „вещие сны“ не редкость. И они по-новому освещают то, что в нас глубоко запрятано и что разрабатывалось в глубинах души.

Вспоминая „чудный сон Татьяны“, где ей явился Онегин, пирующий среди домовых, очевидно для всякого, что поэт сам не раз видел это во сне. Пушкин часто возвращался к такому видению: непроходимая лесная чаща, неожиданно открывается поляна, на поляне изба, в ней либо притон разбойников — которых нашла „Наташа, купеческая дочь“, это первая версия из серии таких снов; — либо светлое жилище семи богатырей, либо чудища Иеронима Босха. И эти сны порождены не столько Татьяной, сколько вышли из запутанной души Евгения.

Близость к смерти помогает запоминать вещие сны и в них разбираться. Это наблюдалось на войне.

Я не претендую на то, что подсмотрел кусок из жизни будущего века. Может быть я раньше многих начал думать о том веке. Наталья Ивановна Пиняева обратила на это внимание и предупреждала меня, когда мне было шесть лет: „Один мальчик тоже все рисовал кладбища и дорисовался до того что взял да помер!“

Я переборщил в этом направлении, моя религиозность была направлена на жизнь „пост мортем“, больше, чем на жизнь и работу на земле. Теперь узнал, что настоящая праведность пребывает в гармонии между „сейчас и после“. Но и сейчас в лучших картинах Лувра вижу отблеск другого мира — напр., в золотых приморских закатах Клод Лорена. В Лицее и в полку я не понимал тех из моих товарищей, которые не задумывались над тайной смерти. По этой же причине не понимаю Ленина и особенно Фрейда, который казалось бы должен был проникать в сновидения о потустороннем.

Смерть меня не пугала, а интересовала.

Еще одно замечание. Наталья Ивановна всегда служила в нашей семье, сперва у бабушки, потом у нас. Родом была из нашей усадьбы, родилась в год освобождения крестьян. Читала только „божественное“, не пропускала ни одной церковной службы. К дворянам относилась критически, а про меня говорила: „Пока дети, вы все хороши, а что потом из вас станет — один Господь ведает“.



Опишу странное видение, которое имел у моря, около Лаванду, где гостил на даче у моего друга, художника Федора Степановича Рожанковского.

Я сидел на песке у моря, было ровно одиннадцать часов утра. К совершенно пустому побережью на гребне волны выносило белую лодку с туристами.

Внезапно я заметил, что около меня сидит пожилая женщина, по виду русская, по-простонародному повязанная платком.

Как будто знаю ее, но не могу вспомнить, кто такая. Она стала говорить по-русски:

„Шумит ваше море, и днем, и ночью шумит. Помнишь, Николай, панихиду, там тоже „зря волнуется житейское море“, однако Вечная Память Иисуса Христа защищает новопреставленную душу, чтобы она не утонула, не растворилась в волнах. Это ты напомни вашим книжникам, про борьбу Вечной Памяти с житейским морем.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я.

„Я раба Божия Наталья“.

— Ты моя тетя Наталья Николаевна?

„Нет... Твой отец большой хлебосол был, все его сельчане теперь вместе с ним. Он их помнил и старался, чтобы они не голодали.

Тут я понял, что это душа Натальи Ивановны, которая этими же словами говорила мне о нашем отце в 1913 году.

„А ваша мама родилась в очень опасном доме...

— Как, спрашиваю я, значит это ты подсказывала мама эти самые слова перед ее смертью?

„Многие ей нашептывали. Она до конца не освободилась от житейского моря, потому что оберегала свой покой и не давала мужу учить себя. Служите по ней почаще панихиды. Сестра твоя Лиза умно поступила, что сама ушла из тех домов. А Ирина почти не замечает зла, ее оберегает раб Божий Иоанн, ее крестный. А вот ты, Николай, напрасно все с женщинами шутишь, вот вчера на винограднике с Кристиной, а зачем? Ей это ни к чему, она не понимает твоих слов, хоть и поддакивает. А раньше ту запутывал, у которой муж больной, а раньше с другой колдуна из себя изображал. Давно пора тебе состариться, остепениться, а то станешь как престарелая Елизавета, она так и умерла в девяносто лет, в притворствах, так ничего от настоящей жизни не узнав.

— Бабушка Елизавета Алексеевна? — спрашиваю я.



Молчание. Потом, в ответ на мой мысленный вопрос, видят ли они Бога:

Господа Бога мы не видим, но очень чувствуем, больше, чем когда жили на земле, потому что нам не мешает житейское море. Тебе хочется знать, как мы живем в горнем Иерусалиме. У нас разные дома, но в храме собираемся все вместе. С горы мы видим ваше море, но быть там никто не хочет. У нас есть рощи, березы завивающиеся, и белые птицы в облаках летают, как изографы на иконах изображают. Антон Леонтьевич все в огороде хлопочет, но едва к вечерне зазвонят, все свои лейки и грабли складывает и идет петь на клиросе.

— Ты шутишь? — говорю я.

„Может быть, и так, но как объяснить тебе нашу жизнь? Мы не старые и не молодые, и помним всех, особенно тех, кто о нас думает. Мы говорим о тебе.

— Скоро ли я умру?

„Когда поймешь, зачем жил. Но только брось поскорее твои чудачества. Кого удивить желаешь? Положи себе на сердце такое правило: „станем добре“. Что это означает? Станем — значит стоять, добре — значит хорошо. Когда ребенком ты слышал в церкви этот возглас иерея, ты думал, что это значит „станем добрыми“, и пусть дети так думают. Но доброта зависит не от нас, и одно к чему мы можем, и должны себя принудить, это „добре стоять“, быть внимательным. К кому? К людям. За это даются в награду высшие дары — дар любви и одновременно дар молитвы. Когда это приобретешь, сможешь сказать: „ныне отпущаеши“, значит пришла старость и ты исполнил завещанное тебе при рождении. А твоих сыновей обе праведные сестры охраняют, их мать и ее сестра. Мы их хорошо знаем, через тебя.

— А Россия? — спрашиваю я, торопясь узнать о всем главном.

„А Россия — как этот виноградник, когда все перемнут в точиле, будет новое вино. Когда ты еще младенцем был, там все, особенно начальники отвыкли „добре стоять“, и почти никто из них никого не любил. Теперь там много скорби, а потому и радости много. У очень многих Пасха на душе. Сам Христос и Апостолы ходят по земле и многих утешают. Ты и не знаешь, как воскресают сейчас многие души, а нам все это видно. Никогда еще не бывало на Руси столь большого собора праведников... Шумно у вас очень, начни отвыкать от этого шума...

„Что ты делал в твоей жизни? Почти все, что ты делал, принесло бы вред, если бы другие не исправляли... Книги лучше отложи и о своих опасных домах-палатах не записывай, какая от этого польза? Кто поумнее, вас давно оправдал, а для других не интересно... Я очень любила ту березовую рощу, помнишь, у того озера, но весь век простучала на швейной машине, зато отвыкать не трудно было. Тебе будет труднее, но и мы, когда за тобой смерть придет, пригодимся, не станем сложа руки сидеть. Помнишь твое детство, как я кормила тебя вишневым вареньем, когда мисс Гринвуд в наказанье оставляла без сладкого? Теперь до свидания! Придет срок, еще раз навещу, а ты посмотри-ка на лодку.

Я посмотрел на часы, которые, оказывается, все время держал в руке — было все еще ровно одиннадцать. По неподвинувшейся волне с лодкой, я сообразил, что вся беседа, из которой я записал едва ли десятую часть, продолжалась одну секунду, если не меньше.

ИНДИЯ В ПАРИЖЕ

На днях иду по бульвару Сен Мишель. Вдруг появляются молодые люди, странно одетые в какие-то оранжевые хитоны. Волосы у них сбриты, на затылках свешивается черная прядь, вроде как у запорожцев на картине Репина.

Вокруг толпятся французы, смотрят без удивления, как на привычное зрелище. Сперва я подумал, что это эмигранты из оккупированного Тибета. Они становятся в линию спиной к решетке сада Клюни и начинают петь хором. Пенье сопровождается ритмическим хлопаньем в ладони, игрой на бубнах и на маленьких медных барабанах. Можно разобрать слова: „Хари Кришна, хари Рама". Нас они как будто не замечают. Один из поющих подходит ко мне и заводит разговор, сперва с трудом по-французски, потом свободно по-английски.

Оказывается, что среди них нет тибетцев и почти нет настоящих индусов, что большинство родом из Америки. Они не буддисты, но принадлежат к особой секте „Веданта-Ваиснавас-Гаудия". Являются миссионерами для Европы, а раньше путешествовали по Австралии, Южной Америке, были в Стамбуле и во многих других местах.

Основа их учения — прежде всего радость жизни. Действительно, они все время веселы и когда поют или разговаривают, не перестают смеяться глазами. Кто не весел, не радостен, тот не религиозен, такой боится жизни и летит, прямо как стрела, в самую гущу преисподней. Да он уже сейчас пребывает в аду, среди аллегорического адского пламени.

Они узнают тех, кто способен к настоящей религиозности, по первому взгляду — по глазам.

Другая их особенность в том, что они верят в личного Бога, как христиане и мусульмане, а не в отвлеченное Божественное Начало, подобно вере буддистов: в представлении тех, Творец не разделен от творения и потому пантеисты не имеют дара молитвы, не благодарят Творца за жизнь, а без живого общения с Единым Творцом, Которого они называют Кришна, без по-

стоянной благодарственной молитвы, можно ли пребывать в состоянии спокойствия, радости и веселия? Ясность в душе и в глазах у пантеистов затуманена.

Они издают журнал — вот последний номер по-французски — и чтобы их сразу узнавали при встрече, на лицах у них нарисованы две линии, от лба вдоль носа. — Каждый ли день вы возобновляете этот узор? — Это белая глина. Случается по нескольку раз в день. — Это символ „третьего глаза?“. — Это старинная традиция. Мы стараемся избегать символов. — Какая у вас главная священная книга? — Багаватгита. Мы читаем ее каждый день, хотя бы одну страницу, и всякий раз открываем в ней что-нибудь новое, чего раньше не заметили. — Кто такой „Рама“? Лицо моего собеседника озарилось детской радостью и он сразу ответил: „Это одно из воплощений Единого Кришны на Земле“.

На следующий день я отправился по адресу, который мне дали, в их общежитие в окрестностях Парижа. Они занимают небольшой двухэтажный деревянный дом. Я не сообразил, что полагается разуваться и вошел в башмаках, но вышедшие навстречу женщины попросили снять обувь. В доме оставались почти одни женщины — мужчины ушли, как обычно, петь на улицах Парижа.

Индусок оказалось мало, было несколько американок, испанка, марокканка, две француженки. Все были молоды и большинство красивы. Сложив ладони я произнес мантру: „Хари (слава) Кришна, хари Рама“ — все хором подхватили. По стенам были развешены олеографии, привезенные из Индии: Кришна сидит под деревом, или среди стада коров, или едет на слоне. Все ярко расцвечено, как картины Матисса.

В храме алтарь со статуями и шелковыми тканями. Одна из женщин, сидя на полу, вышивает покрывала. Другие тоже уселись на полу, для меня принесли стул, большой, тяжелый, вроде куба, кажется, единственный стул в доме, по-видимому привезенный из Индии.

Начался разговор. Я сказал, что впервые нахожусь в индийской обстановке, но что Индия всегда меня привлекала и что первое слово, которое я произнес, когда мне было полтора года, было Брамапутра — к удивлению моих родителей. Но здесь это никого не удивило, оказалось, что с испанкой произошло нечто подобное. Иначе она бы не нашла этих своих подруг и не вступила бы в их организацию. Все радостно подтвердили, что и с ними случилось то же и тихо произнесли: „хари Кришна“. Индуска сказала, что пока человек живет в условиях пространства и времени, он видит личного Бога, не

может представить Его иначе как Лицо, а после смерти, когда душа утратит сознание своего „я“, может быть и представление Кришны тоже растворится в космическом океане. Пока мы ходим по земле, Кришна для нас Личность. Он нас знает, видит, слышит и ведет куда надо.

Я сказал, что я русский и когда-то участвовал в войне. Оказалось, что они никогда не встречали русских и что в Россию и в Китай их не пускают, однако они не теряют надежды когда-нибудь попасть в те края.

В четыре часа началось богослужение. Одна затянула „хари Кришна“, другие хором подхватили. В руках появились бубны, барабаны, колокольчики. Мне предложили, жестами и глазами, присоединиться к хору, хлопать в ладони и подпевать. Некоторые, войдя в экстаз, бросались плашмя на пол и, обливаясь слезами радости, только повторяли: Кришна, Кришна! Это длилось полчаса, после чего все перешли в трапезную. Стул понесли за мной.

Здесь тоже все продолжали ходить босиком, некоторые в чулках. Мою обувь спрятали куда-то, может быть из предосторожности, чтобы я по рассеянности не обулся. В коридоре и в трапезной по стенам висели оранжево-сине-зеленые гравюры из Дели и Бомбея.

Каждый получил железную миску и такую же ложку. Пища — что то вроде халвы и брюссельская капуста в меду. Над столом возвышалась большая фотография Свами Бахтиведанта („ведающий милосердие“). Это их гуру, глава международного общества их секты и автор многих книг.

Мы продолжали разговор об особенностях разных религий, а также о Багавад-Гите. Я сказал о возражении Толстого против этой книги, которая начинается с того, что в некоторых случаях война может получить оправдание. Тогда отказываться от участия в войне для религиозного человека было бы неправильно, вопреки Ганди и Толстому. „Это было бы непрактично“, поддержала американка.

Приближался вечер, наступила пора уходить. Я обещал скоро вернуться. К двери принесли мою обувь. Пошли провожать, хотя я отказывался, сказав, что знаю, где остановка автобуса на площади Карно.

По дороге опять говорили, о том же. Главное — не впасть в соблазн материализма и пантеизма. После смерти быть может наступит час для пантеизма, но пока это преждевременно.

Когда в конце улицы Этьен д’Орв показался автобус, индуска мне сказала:

— Как Арджуна, воин из Багавад-Гиты, ты узнал все, что надо знать человеку, пока стоишь на поле брани между двумя враждующими армиями, готовыми броситься в битву. В каждом из бесчисленных героев в обоих станах живет нечто, что не может быть уничтожено. Каждый это чувствует и потому ни один не убегает с поля сражения. Пока мы живем в ужасном „Кали-Юга" (железный век) мы не можем выйти из братоубийственной войны. Багаватгита была продиктована воину Арджуне Кришной на поле битвы, в эпоху, когда открыли железо и начался век междоусобиц и, одновременно, век технической цивилизации. Мы думаем, что теперь мы переживаем последние столетия Кали-Юга. Но все люди, не только Арджуна, еще пребывают в состоянии войны. Это происходит везде — в школе, на работе, в политических партиях, в семьях. К счастью, кое в чем уже чувствуется приближение конца железного века. Это проявляется в общем углублении религиозности, всех религий на нашей планете, у христиан, магометан, в Индии, в Китае.

НА ПОСЛЕДНЕЙ БОРОЗДЕ

Вспоминая мою жизнь обнаруживаю, что вокруг меня всегда шумела буря, или было короткое затишье перед бурей. Надвигались одна за другой войны и всяческие катастрофы, мерещилось что-то непонятное и неизбежное, причем главную роль в этом играли не люди, а космические силы.

Я получал журнал для подростков, сейчас помню только его название: „Природа и Люди". Природа для меня были собаки, лошади, зимние прогулки на лыжах, летние купанья в Шоше или Воре. Главным была природа, а люди являлись лишь декорацией к пейзажу.

Вокруг расстилается равнина, поля и перелески, далеко на последней борозде медленно шествует Микула Селянинович с косматой сивкой, впряженной в плуг или борону тысячелетней древности. Но главным был не Микула, а кучер Никита Макаров, который учил меня лошадиной науке — как седлать и запрягать, сколько „задавать" овса и когда, после поездки, разрешено поить коней.

Пейзаж был почти такой же как сейчас вокруг того сада, когда я пишу за круглым столом, а вдали по горизонту синеют французские села со своими садами и колокольнями: дальше всех знаменитый собор, а ближе наш приход, Буавиль, за которым скрывается Сарсель, упомянутый у Пруста. В России села назывались Дятлово, Ивашково, Балашково, Лещихино, Полотняный Завод, куда приезжал к своей невесте Пушкин. В сорока верстах было Бородинское поле, куда мы и молодая мисс Матсон однажды ходили пешком.

Сейчас река Воря по-прежнему извивается воровато среди полей, прячется в овраги, огибает колхозы. Но белые колокольни разрушаются одна за другой, или их, за ненадобностью, растаскивают на кирпичи. Церкви превращены в гаражи для тракторов или, по Писанию, в „мерзость запустения, стоящую где не должно". И эти размагниченные сельские храмы напоминают страшную повесть Гоголя, „Вий". Там в конце описана

искалеченная, убиваемая церковь. Когда подростком я впервые читал „Вия“, не догадываясь, что это пророчество, мне не нравилось, что Гоголь мог придумать такое осквернение храма. Хома Брут должен был читать в той церкви псалмы над мертвой красавицей-колдуньей. На третью ночь бесовская сила победила молитвы и иконы, и храм оказался настолько оскверненным, что сам священник, заглянув туда утром, запер навсегда дверь, сказав, что восстановить прежнюю святость уже невозможно.

С тех пор буря врывается в разбитые окна, иконостас прогнил и обрушился, иконы со стен сорваны и свалены в кучу среди битого кирпича, а на их месте поселились летучие мыши и другая нечисть.

Гоголь предсказывал это, не зная что именно должно случиться и когда.

Сейчас к нам доходят апокрифические тексты из России: „Надвигается поток, его имя — Вил, он унесет всех в первозданный океан, не пощадит ни одного из вас“... Это из „Нового устава Петра Могилы“. „Вил“ взят из пророка Исаии, гл. 46, стих 1. В комментариях объясняется, что „Вил — это В. И. Ленин. Но в тех же записях не все так мрачно: „Религиозность русских людей стала чище и глубже, чем в прошлом веке“.

Современная Россия не погрязла в черством атеизме ленинской школы. Подлинная религиозность там запрятана, не только из страха перед коммунистами. Как выразить свое ощущение Христа? Слова почти наверно будут неправильно поняты.

С русским туристом из Парижа там ведут разговор без слов, глазами, незаметным движением руки. Когда турист проезжает в автобусе мимо разрушенной церкви, местные жители слегка пожимают плечем, как бы говоря: — „Что поделать? Церковь разгромить можно, а Христа из наших сердец все равно не прогонят“.

В нашем столетии, и в России, и в Европе началась революция духа, которая подготовляется уже давно. В деревнях и в городах появилось новое поколение священников — как и у нас в эмиграции. Теперь учат не столько догматам, сколько пониманию жизни в целом. Религиозность — это сама жизнь. Настоящая, природная религиозность была известна всегда, но не все были готовы ее принять и почувствовать, что в этом и заключается сила жизни.

То же самое происходит и в католическом мире, в тех храмах, которые опоясывают по горизонту равнину Шартра. Проповедники упирают не на догматы катехизиса и не на то, что римская Церковь лучше всех, а на значение семьи, на внимание

к ближним, на труд, на красоту природы. В прошлом веке царило религиозное уныние, странная усталость от жизни, но это исходило скорее от книг, не из природы. Узнать Христа и радостно жить, это одно и то же. Сумрачные, невеселые христиане, — это следствие затемненного сознания.

Об этом под конец жизни узнал Пушкин, у него можно найти стихи о радостном ожидании смерти. В этом полнота доверия — вера в Бога означает доверие к Нему.

В апокрифическом „Уставе Петра Могилы" есть упоминание о какой-то А. Б. — вероятно, это атомная бомба. Но А. Б. не исключает возможности другого, тоже очень страшного конца: это смерть от скуки. Появился новый соблазн — тяга к самоубийству. Это следствие лжи и лицемерия; многим приходится жить от колыбели до могилы в таком состоянии.

Советская система есть, по предсказанию Тредьяковского, „чудище обло, озорно, огромно, стозевно — и лаяй". В свое время эту строку Радищев поставил эпиграфом к своему „Путешествию из Петербурга в Москву". А раньше Платон определил всякое государство как „Толстое Чудовище". Это чудовище эгоистично и ничего не желает знать, кроме своих выгод. Оно притворяется религиозным, но на самом деле не знает никакой веры.

Вера может быть или абсолютная, или никакая. Ничего, если человек, которого ведут на костер, не сразу понимает, что это награда, что он заслужил венец мученика. В последнее мгновение от это поймет.

Пушкин, слушая Гоголя, сперва смеялся, но скоро начинал хмуриться. Начиная с 30-х годов у Пушкина появляются строфы, где он как бы полемизирует с чересчур безнадежным унынием Гоголя, с ночной религиозностью своего друга:

(Строфы Пушкина к стихотворению „Родриг". 1833 г.)

Чудный сон мне Бог послал:
В ризе белой предо мной
Старец некий предстоял
С длинной белой бородой
И меня благословлял.

Он сказал мне: „будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь Царствия Небес,
Скоро странствию земному
Твоему придет конец.

Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец...
Путник — ляжешь на ночлеге,
В пристань, плаватель, войдешь,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде."

Почему Пушкин, в стихах которого почти не встречается прямого обращения к Христу, слушая Гоголя, скоро переставал смеяться и говорил, что это очень серьезно, очень грустно и очень страшно? Пушкин ощущал, что ужасы полуночного беса, нашептывающего Гоголю, ведут к унынию, и что уныние — есть нечто совершенно противоположное евангельскому духу.

Вопреки всяческим очевидностям, Благая Весть вся проникнута райским светом, полнотой радости и религиозным доверием. И это должно наступить не завтра, а сейчас.

ТРУБЕЦКОЙ БАСТИОН

Марии Юрьевне Бобринской

Ту ночь под Рождество мы встречали в Трубецком бастионе Петропавловской крепости.

Наша камера была рассчитана на одного заключенного, что соблюдалось в эпохи декабристов и петрашевцев, но теперь сюда втиснули многих — иногда доходило до двадцати человек. На кровати лежал больной, который скоро умер, а мы старались заснуть на полу.

Мы числились в качестве „заложников". Если где-нибудь производилось покушение на коммунистов — как, например, в Берлине, скоро после этого Рождества, на Карла Либкнехта и Розу Люксембург — из нас отбирали известное количество и уводили „без вещей". Потом на дворе раздавалась пулеметная очередь. Это происходило по ночам.

Террор бушевал вовсю, в столице и в провинциях, неизвестно где больше. Ленин в „Правде" и в „Известиях" предупреждал родственников арестованных, чтобы они не беспокоили Крупскую своими телеграммами с просьбами о помиловании. „Это совершенно бесполезные попытки разжалобить мою жену", — пояснял Ильич, — и может только ускорить расстрел, добавил один из нас. Другой пессимист рассуждал так: „неизвестно, ускорит или нет, но так или иначе о нас не забудут, а в каком порядке вызовут „без вещей" — дело случая и не имеет значения".

Меня с отцом привели в солнечный день начала сентября и когда отперли дверь в камеру, я увидел лица болезненно бледные, не мытые, неряшливо обросшие бородами, как у людей каменного века. Большинство дремало. Один старик внимательно взглянул на меня и улыбнулся.

И вот дни потянулись замедленным темпом, а недели и месяцы довольно быстро. Скоро я так отощал от голода и холода, что уже не выходил "на прогулку„ — десятиминутное

хождение по коридору. Квадратное окно было высоко и на три четверти забито досками, так что камера пребывала в постоянном полумраке и день мало отличался от ночи.

Около меня лежал старик и молодой в офицерской шинели. Иногда они переговаривались вполголоса, и я старался расслышать и запомнить, о чем они говорили. Часто речь шла о Пушкине и вообще о поэзии.

Из коридора по временам доносилось как отпирали одну из камер — значит привезли новых — или же раздавалось: „Сидоров и Попов, без вещей!“

— Когда за мной придут, — сказал офицер, я встану и пойду, не быстро, не гордо, не показывая страха и без иронической улыбки. Пойду как автомат. Спускаясь по лестнице, буду стараться не поскользнуться на обледенелых ступенях, ступать буду твердо, выражая свое презрение к судьбе и безразличие к убийцам. Сердце, конечно будет биться вовсю, тут уж ничего не поделаешь, но этого никто не заметит. Вот моя программа. И сам Пушкин так бы поступил.

— Ни в коем случае, — сказал старик. — Стараясь отчетливо маршировать вы обнаружите, что боитесь и укрываетесь под личиной лихого кавалериста.

— А что еще я могу делать?

— Надо, чтобы в глубине вашего сознания сразу что-то изменилось, вывернулось наизнанку, и тогда вы забудете про всякие театры. Станете естественны, каким были на заре жизни и будете совсем просто, ни о чем не думая спускаться по той лестнице.

— Как же так не думать? Это невозможно. Вспомните Достоевского, которого увозили из этих камер, тоже под Рождество, 22 декабря 1849 г. Он не обнаружил слабости нервов, увидев эшафот, но бесконечно много думал обо всем — о жизни, о друзьях и о том что неминуемо произойдет с ним через несколько долгих минут.

Старик помолчал, потом заговорил:

— Страшной ошибкой Достоевского на лобном месте было думать о прошлом и о будущем: куда я сейчас унесусь? Сольюсь ли с этим зимним небом? С теми золотыми куполами на Семеновском плацу? На такие вопросы нет ответов, и такие мысли, не только на плахе, а всюду, неизбежно вызывают страх. Если же удается не думать ни о чем и не задавать никаких вопросов, а просто сказать „Божья воля“, — тогда в любой обстановке станет легко. И это случается со всяким и как бы

само собой. Охватывает веяние полной бозопасности. Ужас обернулся огромной радостью, не похожей ни на что прежнее.

— К сожалению, — сказал молодой, — я привык слушать лишь самого себя и не поддаюсь никаким внушениям и влияниям.

— Но это как раз то, что требуется. Удивительно, как вы сразу меня поняли. Для того чтобы душа получила озарение, надо идти к истине самому, без подсказов. Нет, я не сказал „постарайтесь не думать", зная что это ко всякому приходит само, хотя бы в предпоследнюю секунду. Это как когда спящий сбрасывает с себя одеяло и вдруг видит себя в своей комнате, весна, окно раскрыто и поют птицы. Но насильно этого создать нельзя. Мушиный рой мыслей улетит за окно, когда душа вспомнит, что разум глуп и ничего объяснить не умеет, что логика ума заперла нас в безвыходные сновидения, подобные камерам и коридорам Трубецкого бастиона. И все же выход имеется.

Некоторое время собеседники молчали. Потом офицер задал вопрос:

— Что надо делать, чтобы мое сознание вывернулось наизнанку?

— Ничего не надо делать. Это совсем просто, и каждый испытывал такое состояние, часто или изредка. Тогда скептицизм или ирония проваливаются туда, откуда вышли, в небытие, а душа вступает в вечную жизнь или Вечную Память. И не остается следа даже от последнего из вопросов: за что мне, существу глупому и дурному, дарована такая благодать?

Со двора опять донеслись выстрелы и затихли. Мы знали, что по ночам солдат не обучают стрельбе.

— Что они там почувствовали, те что падают под стеной?

— По всей вероятности, свободу: освобождение от всех тревог и забот.

— Если мысли остановились, можно ли осознать радость и свободу? Чем? Инстинктом?

— Да, но самой глубокой степенью инстинкта, то, что мы называем религиозным или поэтическим озарением. Поверхностный инстинкт животного в лесу находит пищу и воду и боится смерти.

— Скажите еще что-нибудь, чтобы я понял. Вот, вчера мы говорили о Пушкине.

— Да, Пушкин это настоящая поэзия, не романтическая игра в ужасы. Ему еще в Лицее открылось, что подлинная сущ-

ность бессмертного мира не может быть выражена словами, но уясняется углубленным вниманием. Предположите, что вы слушаете с огромным вниманием, но без напряжения, чтение в церкви какого-нибудь текста из Священного Писания, данного вашему народу. И слушая эти слова, знакомые с детства, вы вдруг одновременно услыхали звон колокола, или крик петуха, или, как сейчас, выстрел. Если вы перестанете направлять ваш мысленный фонарь на то или другое в отдельности, но охватываете все сразу, и Писание, и петуха, и выстрел без разделения на добро и зло, не станете думать, что одно хорошо, а другое плохо, тогда вас коснулась Вечная Память, которую уже не смогут затопить волны „житейского моря, волнующегося зря".

Действие панихиды изображает попытку „житейского моря", или видимого мира, нас уничтожить — и конечную победу над ним Вечной Памяти. Это ваша собственная сущность, не рожденная и не умирающая, совершила такое чудо. И это выход из иллюзии времени и пространства. Александр Блок недавно при мне назвал это состояние поэтическим инструментом максимальной степени. Пушкин об этом, еще в Лицее, записал:

„Задумаюсь, взмахну руками,
На рифмах вдруг заговорю".

Это тайна, она является когда сама захочет и вбирает в себя душу — не душа вбирает истину, а истина — душу. Большая поэзия и музыка, все виды искусства, которые понятны всем и не являются привилегией каких-то избранных, ни о чем другом не говорят.

Вспомните также Сократа, обучающегося музыке. Ему уже перешло за семьдесят лет, когда он оказался в том же положении, как мы сейчас — сидел в тюрьме ожидая казни. Там он получил откровение о значении музыки и за несколько дней до смерти начал учиться играть на флейте. Флейта окончательно освободила его от всех иллюзий мыслей и слов.

— Но религиозность Пушкина мне всегда казалась сомнительной, — сказал молодой.

— Потому, что он не нуждался в догматических откровениях. Большею частью такой человек спит мертвым сном, это бесчувственное сердце, но иногда случается, что он, наоборот, пробужден больше чем все мы и еще при жизни впущен в рай, вопреки всем очевидностям своих современников и будущих биографов. Если кто из нас выйдет на волю и под конец жизни расскажет внукам про эту рождественскую ночь, будем на-

деяться, что внуки поймут главное: что в этом Трубецком бастионе был не только ад и даже не только ворота в Царство Небесное, но самый настоящий рай.

— Почему бы вам не говорить громче, чтобы вся камера могла слышать?

— Вся камера спит, и ей не надо мешать. Те, кому нужно, прислушиваются к нашему разговору.

ТЯЖЕСТЬ И БЛАГОДАТЬ

Анне и Степану Т.

„Всякое движение нашей души управляется законом, подобным закону тяготения — притяжения и отталкивания. Одна лишь благодать составляет исключение, потому что она не зависит от нашей воли. Две силы царят в этом мире: свет и тяжесть. Если не вмешается сверхъестественная сила, все случается согласно закону тяготения“.

Так начинается книга Симоны Вейль « La Pesanteur et la Grâce ». В книге всего 180 страниц, в ней 39 коротких очерков, каждый состоит из афоризмов, случайных заметок, отрывков из писем или из дневников. Друзья Симоны привели в порядок разрозненные записи, нашли заглавия для книги и для очерков. Книга появилась после смерти Симоны Вейль, которая умерла 33-х лет в Англии, во время последней войны.

„То, что мы называем „низость“, — есть проявление тяжести, самый термин „низость“, указывает на это. Не надо судить, все грехи одинаковы: кто осуждает — не питается светом: Моя пища — творить волю Пославшего Меня“.

Четырнадцатый очерк озаглавлен „Любовь“. „Не потому, что Бог нас любит, мы должны Его любить, но потому, что Бог нас любит, мы обязаны любить себя. Без этого мы не можем любить и других. Тот, кто думает, что любит себя без такого „обхода“, на самом деле не способен любить. Кто не знает, что Бог его любит, не может ни уважать, ни любить“.

Без любви нельзя даже ясно знать, что другие люди существуют. Любовь есть ощущение реальности мира и красоты. Радость тоже является после того как мы обнаружили, что все, что нас окружает, реально существует. Из любви проистекает потребность „упрочнять“, досоздавать то, что мы любим, это есть желание подражать Богу. Но здесь, если нет помощи благодати, легко соскользнуть к соблазну идолопоклонства.

Это понятно: все, что тяжело и низко в нас, восстает против чистоты и стремится, ради сохранения привычной тяжести,

загрязнить чистоту и замутить простоту. Здесь Симона, может быть, вспомнила текст из „Подражания Христу“: „На двух крылах поднимается душа к небу, одно из них чистота, другое простота. Чистота намерения и простота выражения. И одно не бывает без другого“.

Загрязнить чистоту или красоту — это пытаться взять над ней власть, овладеть, ради удовольствия, или ради славы или еще для чего-то, иногда просто от скуки. Но что такое красота? Это присутствие Бога во всякой вещи, *не искаженной нашим воображением.*

Красоте посвящен очерк 33.

„Это гармония случайности и добра. Когда мы встречаем человека большой внешней красоты, трудно вообразить, что под этой оболочкой не скрывается дар любви. К сожалению, это иногда случается — и такая ошибка может причинить большие страдания. Лишь по отношению к целой Вселенной красота не обман. Красота мироздания свидетельствует о любви, которая и есть душа Вселенной“.

В другом месте Симона Вейль отмечает, что в числе многих других противоположностей, красота совмещает мгновение и вечность. Войти в бессмертие мы можем лишь на миг, выйдя из времени, через ноль времени, через „сейчас“. К сожалению, мы часто ищем вечности в будущем, после смерти.

Это происходит еще потому, что некоторые наши озарения, хотя и не самые благодатные, происходят во времени. Часами мы слушаем музыку, созерцаем пейзаж или произведение искусства. Это единственный отблеск благодати, который нам дано переключать во временность. Так греки внимательно всматривались в свои храмы и скульптуры. Театр греков тоже был прекрасен, потому что неподвижен. После мы „засуетили“ театр. Трагедии Шекспира уже второго разряда, кроме „Лира“. Про современность лучше промолчать.

Настоящее произведение искусства по существу анонимно — автор в нем растворяется.Так и красота мира обнаруживает одновременно Творца и благую творческую силу Святого Духа.

„Поэзия. Страдание и радость невыносимые, невозможные. Чистая радость причиняет боль. Чистое страдание успокаивает, только не надо от него бежать. Красота: яблоко, на которое смотрят, не протягивая руку. Также печаль и смерть, на них надо смотреть раскрытыми глазами“.

Иначе говоря, двойное движение радости и печали заложено во всяком настоящем, т. е., религиозном искусстве. Светом

благодати восстанавливается то, что иначе могло бы обернуться тяжестью.

Городничий у Гоголя всюду видел свиные рыла, а Мейстер Экхарт: „Куда ни посмотрю, всюду вижу Бога".

„После 1914 года — полный разрыв между религиозностью и искусством, — пишет Симона Вейль. — Но нам незачем завидовать эпохе Паскаля и Баха, искусство возродится, когда мы до конца пройдем полосу великого мрака. Каждый сейчас живет в одиночестве, без отзвука. Это не так страшно. Но там, где нет отзвука, нет и искусства".

Для Симоны наша эпоха — темная, но и очистительная ночь атеизма. Это случалось и раньше. Мейстер Экхарт сказал: „Я молюсь Богу освободить меня от Бога" — может быть, потому, что падший разум искажает образ Бога. Но вернемся к очерку о любви.



Когда в любви отсутствует целомудрие, его место заняло желание „наслаждения" или „обладания" и это доказывает неспособность питаться светом. Романтизм воображения порочен, как и надежда на будущее. Благодать вечности раскрывается лишь в вечности настоящего мига, в обоих смыслах слова „настоящее". Любовь к умершим чиста, потому что мы ощущаем их присутствие в вечности настоящего.

Ошибочно желание быть понятым до того, что выяснишь себе самого себя. Это значило бы, что кто-то должен помочь мне узнать себя, или еще искать незаслуженное удовольствие в дружбе. Это так же опасно, как романтическая псевдо-любовь. Симона считает, что такова тема почти всех романов, написанных за последние два столетия. Когда кто-нибудь садится писать не о самом главном, а от скуки или ради славы, получается новая скука или новый стыд. Также не следует продавать свою душу из страха одиночества.

„Учиться отстранять неоправданную дружбу, вернее, сон о дружбе. Искать дружбу вопреки всему — большая ошибка. Дружба приходит сама, когда ее не ждут, как радость от жизни. Чтобы стать достойным, нужно сперва отказаться. Сильная душа не бежит навстречу благодати, а говорит: „Господи, удались от меня недостойной!" Дружба не плата за что-то, а дается в придачу к плате. Сон воображения должен быть разбит.

„Это не случайно, когда тебе говорят, что ты никогда не знаешь о том, добр ли ты. Чувствительно ли (сентиментально) твое сердце? Надейся, что нет, потому что так растлевается

душа. — „Но я боюсь засушить сердце“... Лучше бойся самообмана, это то же, что мечтать, будто ты стал великим художником или поэтом. Пора покончить с юношескими соблазнами.

Трогательные привязанности опасны, они хотят заточить тебя в тюрьму. Между подлинной дружбой и внутренним одиночеством, твое одиночество станет полнее, совершеннее, когда ты узнаешь благодать дружбы“...

***

Отправляясь в путешествие я беру с собой книгу Симоны Вейль.

В „Тяжести и Благодати“ нахожу ответ на все. Эту книгу я дарю моим знакомым и определяю по ней духовный уровень каждого. Многие одобряют. Кто-то сказал: „Хорошо, но не ново“ (!). Хороший признак, когда не дают никакой оценки — значит ждут, задумались над жизнью и над собой.

Симона любила ближнего, как самое себя. Она думала, что лишь исходя из упомянутого выше „обхода“, возможно так любить человека, потому что Отец любит одинаково всех Своих детей.

Она незаметно учила людей, — как своих учениц в лицеях, где преподавала философию, — всматриваясь в себя, и тем изменять свою жизнь. Никогда не поздно по-новому вглядеться в жизнь, любовь, красоту, дружбу, вечность.

Перечитывая ее обнаруживаешь что значит полнота веры, — нет, скорей *доверия* к Богу. В каждой строке она как бы говорит: „Делай со мной, что хочешь, и это будет самое лучшее для меня и для всех“.

Такова была ее молитва.

ФРИДРИХ ГЕЛЬДЕРЛИН

К двухсотлетию со дня рождения

I.

В 1807 году, после повторных припадков буйства, после стажа в сумасшедшем доме и когда доктора признали, что опасный период миновал, поэту сняли комнату над мастерской столяра Циммера, в башне городской стены города Тюбингена. Под окном открывался вид на долину реки Неккара — тополя под крепостным валом, виноградники, поля и холмы, а на горизонте цепь невысоких, покрытых лесом гор. Здесь он проведет всю вторую половину жизни, последние 35 лет.

С годами он успокаивается, по выражению лица не видно, чтобы он тосковал. Снизу доходят звуки работы Циммера — пила, молоток и рубанок. Посетители редки, едва раз в год кто-нибудь из поклонников или любопытных поднимается посмотреть, чтобы потом написать в газету. И он всегда встречает гостя глубокими поклонами и реверансами, титулует его: ваше высочество, ваша светлость (до болезни он служил библиотекарем у одного из баварских принцев) и уклончиво отвечает на вопросы: „Под таким покровительством живется сносно... угодно ли получить ритмическое стихотворение? На какую тему, приказывайте!“ И сам предлагает тему: „Воспоминание прошлого“, „Битва с ангелом“, „Праздник Греков“. И охотно импровизирует на бумаге 2-3 строфы, о погоде, о летнем пейзаже, о столяре Циммере. Для себя он редко пишет, так, во всяком случае, уверял Циммер, у которого мало что сохранилось из бумаг его квартиранта. Рисунки, отдельные фразы на обрывках газет: „Приходит ночь! О, поспеши! Кто снимет с тебя венок печальных снов?“

“О сестра, где найти мне, когда угрожает зима,
Те цветы, что вяжу я в венки для живущих на небе?
Значит, я ничего уж не знаю про тайны небес

И как будто покинут душою.
Значит, только друзьям эти знаки любви,
Те цветы на полях обнаженных.
Их ищу
И тебя. Но не вижу„.

Циммеру

Я говорю про человека: если
Он мудр и благ, то что необходимо
Ему еще? Что нужно для души?
Наш лучший друг — возлюбленная наша,
И ремесло. Вот, я скажу всю правду:
В тебе душа Дедала и лесов.

О том, что с ним произошло, он записал так: „В разгар лета стрела Аполлона пронзила мозг — и Прометей освобожден. Где была опасность, там быть может оказалось спасение“...

У нас в те времена это узнал трезвый Державин: „Раскрылась бездна, звезд полна. Звездам несть чисел, бездне — дна“. В наши дни сказали бы: открылась бездна подсознания. Хлебников завещал поэтам: „Надо ехать туда, где никто еще не бывал“.

Гельдерлин: „Угасает сознанье и воля, загораются факелы снов“... „Наши сны Диотима толкует стихами“... „После утра Христова все слова потеряли значенье: легкий ветер, узор на песке“.

При жизни Гельдерлина его мало знали. Жуковский, который переводил стольких немцев, о нем, вероятно, не слыхал. Но недавно философ Гейдигер оценил Гельдерлина как величайшего поэта всех времен и народов, потому что он самый свободный: подходит к границе, к обрыву в небытие, но гений РИТМА спасает его, мешает раствориться в вихрях хаоса.

Гельдерлин отталкивался от рифмы, от самой идеи рифмованных стихов: „Что бы сказали Греки, если бы они услышали нашу варварскую шарманку?“ Впрочем, в отроческие годы он снисходил до рифмы, но это было до того как его коснулся Аполлон.

***

Сплошная рифма появилась в Персии, около тысячи лет назад. Вскоре новая мода перешла в Индию, в Китай и во Францию. Одно из первых стихотворений, рифмованных с начала до

конца в Европе, было „Стабат Матер Долороза“. В Индии рифма не привилась, там считалось, что это дешевое украшение идет в ущерб главному, на чем держится стихотворение — ритмическому ладу.

Человеческое сердце превосходит элегию, оно разрывает ее, оно не выносит „красивости“. Можно ли сказать про ангела что он красив? Ведь это часто ужасная, не нашего лада красота и не всякий храм выдержит белизну его одежд, его копье и пристальный взгляд.

Орлы

Отец мой летал над Монбланом,
Откуда спускаются реки,
В Этрурию, в Умбрию мчался,
К Олимпу в кольце фимиама,
Где тень от Афона ложится
До синих Лемносских пещер.
Из дальнего леса над Индом
Явился родитель его.
Но первый мой предок
Носился над морем,
Увенчанный думой,
И царская мысль содрогалась
Пред грозной загадкой воды.
Когда облака собирались
Поверх корабля и чудовищ,
Глядящих вокруг молчаливо,
Готовых друг друга пожрать —
Суровые горы стонали:
„Возможно ли здесь поселиться
В долине, закрытой от века
Пожаром и черной водой?“

Дух проявляет себя в материальном мире совершенно тем же путем, каким создается стихотворение. Пока поэт ищет внешнюю форму, пока он не унесен ритмом, поэзия его не будет правдива. Поэзия, как и вся природа, рождается оттого, что дух не может проявить себя иначе, чем ритмически. „Если пишущий пользуется чужими ритмами, он может только повторить кого-то или самого себя. Каждое новое произведение требует нового ритма.

Таинственное свойство языка: когда речь вызвана чувством, сердцем, не только умом, она сама собой складывается ритмически. Когда деревенская женщина объясняется в любви или причитает над покойником, ее язык невольно говорит белыми

стихами. Других законов для стихотворца не нужно: всякое чувство выявляется своими путями, по своим ладам. „Кроме того, все, что правдиво, то профетично, — записал Гельдерлин. — „Жизнь есть борьба либо за правду, либо за чудо. В поэзии народ узнает о своей душе и о своей судьбе. Поэзия дает свободу. Язык человека умнее, чем его ум. Рифма может обмануть (блеск рифмы иногда прикрывает душевную опустошенность), но слабость ритма сразу обнаруживает фальшь".

Еще об языке, из письма Гельдерлина матери: „Человеку дан ритмический язык, самый опасный из даров, дабы создавая, разрушая и возвращаясь к вечно живущей Госпоже и Матери, он свидетельствовал бы о том что есть, что человек унаследовал, узнал от Матери о самом божественном в ее сущности, о любви, которая питает вселенную".

Итак, язык поэзии, о котором в начале болезни он писал своей матери, успокаивая ее, что „поэзия это только игра, самое невинное из занятий", есть одновременно и самый опасный из даров. Поэта подстерегает безумие. Он обрекает себя на жертву. Но без таких жертв человечество не могло бы существовать, оно вернулось бы в ряды природы. Таков подвиг и наказание поэта, и пусть у матерей болит и истекает кровью сердце за младших, самых беззащитных и незадачливых из сыновей. Об этом говорит конец поэмы, которая начинается словами:

Как в праздник посмотреть поля
Идет крестьянин рано после ночи,
Когда гроза промчалась над землей...

Нам подобает под грозою Бога
Остаться с непокрытой головой,
Рукой схватить стрелу огня из тучи
И дар отцовский, облеченный в песни,
Потом отдать народу.

Здесь переход к другому значению языка, не менее важному, чем первое: в первом значении сверх-язык позволяет нам общение с Богом, во втором с людьми. Обыкновенным, плоским языком, языком практических удобств (ему можно будет обучить высшие виды животных) — нельзя разговаривать с людьми. Лишь от сердца идущая речь будет услышана и понята ближним, но те слова, какие идут от одного острого ума — это звук пустой, ненужный шум, который тотчас замирает, забывается.

„Человек многое испробовал, и небесные силы многое нам назвали своими именами, с тех пор как мы являемся диалогом

и способны слышать один другого", — говорит Гельдерлин. Поэзия создала память, историю и возможность культуры, или самое существо человека. Начиная со священных книг древних пастухов, все, что достойно сохраниться в вечности, создано поэтами.

II.

Поэт — это вестник, он несет и передает поручение от Бога людям. Поэтому он пребывает в сфере ангелов, в мире промежуточном между небом и землей. Отсюда боль одиночества.

Сперва он воспринимает себя как существо свободное, его вводят в заблуждение крылья. Это период чистой лирики.

Постепенно, если он силен, он узнает о долге перед людьми, о подвиге и о жертве. „Песни влюбленности это еще незрелые крылья, — записывает Гельдерлин, — но иное совсем просветленная слава орфических песен народов". Созревший поэт есть сердце и голос своего народа. Судьбы родины, о которых лишь на самой темной глубине подсознания догадывается человек, вот настоящая тема для созревшего поэта.

Что такое ЛИРИЧЕСКИЙ ЭПОС, открытый Гельдерлином? Это мифические сны исторических событий прошедшего и будущего, материал, из которого народы создают свои легенды. Это не классические летописи. Классицизм созерцал объективно, как бы со стороны и без сердечной боли, разве лишь в редких отступлениях, — классик повествует понятным языком о событиях, какие он видел наяву или узнал от других летописцев.

Но вот открывается новый способ художественного проникновения в реальность — превращение поэтом своей темы в самого себя. Это было откровение романтизма. Корни всего, что хорошо или что плохо, — скрываются в душе человека, и из того, что происходит в душах, рождаются судьбы вселенной. Проекция истории, обращенная к общему, связана с обстоятельствами личной жизни.

Первый пример такого поэтического творчества дал Руссо. Впоследствии Байрон превратил классический объективный роман в сплошную лирическую поэму, где чужое сливается со своим на всем протяжении романа, а не только в „лирических отступлениях". Романтизм весь устремлен к лирике, как классицизм к эпосу. Для классика все — оно, это; для романтика — я, мы, мое. На этом пути современные Гельдерлину поэты не пошли так далеко как он. Шиллер и многие, кого переводил для нас Жуковский, еще довольно близки к классицизму. Они чер-

пали вдохновение не в себе, не в своем безумии, а в битвах или идиллиях далеких сказочных веков, где герои с душами подростков борются с любовью или с чудовищем.

„Мир становится сном, сон становится миром“, — сказал Новалис. Преобразить подсознание в сознание, сон в явь, хаос в молитву, вот задача романтического поэта, который приносит самого себя в жертву небесным силам. Он предуказывает народу путь. И гимны его, обращенные к земле и небу, являются одновременно его собственной исповедью.

Классическое Возрождение открыло для Европы Грецию и искусство живописи, восемнадцатый век вернул Средние Века, дал музыку, Индию (первые переводы Вед и Багавад-Гиты), а также Персию и Китай. С XVII века в искусство входит элемент чуда. От светлых вод ясности поэзия переходит к густой и тяжелой воде жизни и смерти, о которой Гельдерлин вспоминает: „И царская мысль содрогалась пред грозной загадкой воды“.

Стихи теперь ассоциируются не столько с живописью, скорее с музыкой, они открывают двери чувству. Точность слов и определений помешала бы этой поэзии. Слова нужны для того, чтобы намекнуть на иной мир, лишь отдаленно подобный нашему миру. Все в движении, все переходит из одного в другое. Река жизни заворачивает, все время раскрывая новые горизонты, это река мифических сновидений.

Обычный мир если и остается у Гельдерлина, то как бы увиденный им во сне. Потому такими непривычными, будто из других измерений являются у него Диотима, греческие мудрецы, битва в Архипелаге, Европа, Азия, Германия, Дунай, виноградники Гаронны. Это его собственная сущность раскрывается под разными наименованиями, собственная трагедия, подвиг и печаль. Отсюда тревожная взволнованность географических названий.

Едва коснувшись одной темы, он оставляет ее, она уже сыграла свою роль, послужив трамплином для прыжка в иную реальность. Горный пейзаж превратился в облака, но душа человека не растворилась в небытии: тот мир, где душа пребывает, более прочен, чем Альпы и Гималаи.

Ощущение добровольной жертвенности — отдача себя всему и поглощение всего в себя и связанное с этим состояние вневременности или вечного проникновения всего любовью — вот ключ к этой поэзии, загоревшейся на заре романтизма, почти не замеченной в течение ста лет и теперь возрождающейся у правнуков.

Существуют две жизненные силы, одна из них Правда, другая Жалость. Человек живет попеременно под знаком одной

из них, и ему иногда кажется, что они между собой борются. Но Гельдерлин своей сверх-логикой соединяет их в одну, поскольку обе направлены к любви.

⁂

Вот несколько сохранившихся записей Гельдерлина.

„Ночь ведет человека дорогой загадок... Чтоб чудо не стало обычным, дано человеку страданье“.

„Ах, мы плохо знаем себя, потому что в нас царствует Бог“.

„К тем ладам, что парят на большой высоте, я хотел бы уйти. Не доходят до неба обращенья унылой тревоги“.

По временам орфическая темнота проясняется:

„Только там, где прошла чистота, Дух становится зримым очами“.

Поэтический дар сперва счастье, потом опасность, потом кажущаяся гибель, потому что слаб человек, не по его силам выдержать борьбу с ангелом в споре за страдания твари. Не понимая, что с ним происходит, отмеченный человек сопротивляется, отступает, пытается уменьшить пламя светильника. Боль усиливается — „И я, ничего не поняв в нежданной судьбе, к теням обратился смиренья. Не знал, что печаль посылают, чтоб нас испытать, до того как родился в нас Бог“.

В своей молодости Гельдерлин, как немного позже Киркегаард, готовился стать лютеранским пастором, но оба они отказались от этого, не потому, что потеряли веру. Церковь, хранительница догмы, уже не могла оставаться для них полезной. В ту эпоху в Европе начиналась духовная революция, в результате которой человек должен был войти в личное общение с Реальностью, без помощи наставников и посредников.

То было событие огромной важности. Человек порывал с привычным и спокойным укладом, со своими умными и добрыми руководителями, и почти нехотя вступал на путь самостоятельности. Эта перемена не могла совершиться безболезненно, в тишине и спокойствии. Исторически она вызывала потрясения и даже войны (хотя это недоказуемо исторической наукой), более опасные, чем религиозные войны предшествующих веков, когда Церкви воевали против Церквей.

Эту перемену Гельдерлин усмотрел не столько во французской революции, сколько из книг Жан-Жака Руссо, о чем он говорит в поэме, посвященной этому писателю:

Недолог наш день — просыпаемся утром,
Глаза раскрываем, и вот уже вечер,
И мы засыпаем, и много народов
Угасли, как звезды.

Иному дано разглядеть в отдаленье,
Лишь чуть просветлеют тяжелые горы,
Но ты у воды пребываешь в тревоге,
Взыскующий чуда.

Сквозь ясные утра и черные ночи
Он видел порой колесницу победы,
И шли легионы в серебряных шлемах
С тяжелой добычей.

Уж новая жатва поднялась на поле
Из почвы родной — но горячие руки
Упали и, точно не выдержав груза,
Повисли в печали.

Он жил среди нас. И ему осветили
Чело те лучи, что от нового солнца
Доходят к иным из нездешнего мира
И грудь согревают.

Он новый язык услыхал и запомнил,
И знак разобрал, и читать научился
В сердцах, ибо знаками только беседу
Ведут с нами Боги.

Мы правду искали, но высшее чудо —
Когда человек, как орел через бурю,
Промчится без страха и выйдет навстречу
Идущему Богу.

В душе поэта созревал творческий синтез вселенной, осуществление полноты нераздельной жизни, включающей объяснение и оправдание космической трагедии, или спасение мира.

Вот одно из предсмертных его стихотворений, написанное на восьмом десятке жизни, в башне у Циммера:

Осень

Ушедшее в твореньи не погибнет.
Пускай опять скудеют лета дни
И осень опускается на землю —
Душа своих сумеет отыскать.

В короткий срок какая перемена!
За плугом шел крестьянин, а теперь
Он видит, как склоняется в покое
К закату год и меркнет жизни день.

Но шар земной, весь поднятый горами,
Не облако, что тает после дня.
Вглядись в него, из золота он скован,
Без жалобы покорной завершен.

СТАРИКИ

Марии Петровне Лодыженской

Старческий Дом у Средиземного моря. Вечер. Два старика сидят на террасе с колоннами. Один сказал:

— Скоро умирать пора, а когда не сплю, наплывают морские уродины — всякие дурацкие воспоминания о каких-то собственных промахах, о своих неудачных высказываниях, случавшихся когда-то давно или совсем недавно... Какие-то нарушения этикета, порядка светского, или военного, или церковного, или какого угодно. Этот стыд за мои промахи обнаруживает, что я притворщик и лицемер, говорю одно, делаю другое, думаю третье, вечно играю роль. Сейчас меня разоблачат, за моей спиной говорят: вовсе он не такой простодушный и непосредственный, каким представляется... На самом деле всегда хитрил и притворялся, что-то старался скрыть... Вспоминаю что почти все, перед кем я так опозорился, давно умерли...

— Это и со мной происходит, — сказал другой, подумав. В нашем возрасте что важнее всего? Узнать себя, пока не поздно. Без стыда за свои неудачи трудно себя узнать. Надо постараться выяснить, в чем были неудачи и чего я больше всего стыжусь: собственной глупости, или того, что кого-то невольно обидел. Перед смертью лицемер торопится открыть себя, это вполне нормально. Надо успеть, пока есть время, после ведь и так каждый становится прозрачным. Но может оказаться, что ты не только притворялся простым и добрым, но на самом деле стремился к этому, значит не совсем лицемерил.

— Хорошо бы, если так. Потом, когда не спится, я думаю, что для меня жизнь в общем сложилась удачно. После мыслей стыдных приходят мысли утешительные, ради самоублажения, я радуюсь своим успехам. Картина зарождения мыслей становится ясной, будто поднесли волшебное зеркало и ты обнаружил свою подноготную. Заколдованность прорвалась, как рыбачья сеть и все мысли, эти бьющиеся рыбы, сразу уплывают на простор, в небытие. Но этой ночью задумал писать историю

моих озарений — и вдруг обнаружил, что рыбы опять попались в сеть, все одновременно.

— Да, это очень забавно. Я приучился запоминать сны — это, по крайней мере, не плагиат. Но во сне я не всегда тот, за кого себя принимал. Например, кто был тот, кто этой ночью плакал горькими слезами? Он не мог быть тем иронистом, который сейчас об этом вспоминает, потому что этот никогда не плачет — отучился еще до 1914 года. Сны — это плохая подготовка к жизни, — ведь мы не романтические поэты — но хорошая репетиция перед смертью.

— Да. Но доктор больше не дает снотворного, все жалуются. Говорит: сегодня не заснули, отоспитесь завтра. Поль Валери никогда не спал больше четырех часов.

— Доктор прав, можно без всяких пилюль считать верблюдов или баранов, которые проходят в пустыне Гоби. И вдруг раскрывается драма, вроде новой истории семейства Карамазовых, где спящий играет роль каждого из братьев и их невест.

— Но вот мой вчерашний сон: я прячусь за ширмой в парадной комнате Варганова. На креслах и диванах сидят пожилые крестьяне, скуластые парни, девушки. Заметили меня? Как будто да, но до времени притворяются, что не видят. К ужасу замечаю, что я к тому же стою без одежды, совершенно обнажен.

Молодая Наташа вдруг обращается прямо ко мне: „Пойдем в рощу и выйдем на реку". И тут оказывается, что я одет. Мы спускаемся по лестнице, преследования пока нет.

Мы выходим на берег Шоги, где осталась старая купальня. В это время сзади нарастает грозный шум — это молча бежит толпа отомстить за Наташу и за то, что я вернулся. Ужас нарастает, чем это кончится? Отступления нет, впереди река.

Наташа говорит: „Посмотри внимательно на реку". И я вижу — о радость! — что это вовсе не Шоша, но Арно, и вокруг улицы Флоренции. Пробуждение.

Не ищу тут никаких символов, хотя спасавшая меня Наташа — это, может быть, душа России, как Галя, которая пела в 20 году:

„Офицер молодой, погон беленький,
За границу тикай, пока целенький!"

Вообще же сон — это вся жизнь, биография в ракурсе, сжатая до нескольких мгновений.

— Пожалуй, что так. Жизнь моя и жизнь всего космоса. Человек — это весь космос, получивший сознание, пока еще

довольно хаотическое. Если бы мир не происходил из лона Духа Святого, никакое создание не могло бы надеяться вернуться на свою родину. Но всякое дыханье, не только на нашей земле, живет в уверенности предстоящего преображения. Жизнь есть предвкушение полной свободы, и все об этом догадываются. Прошлой зимой в этом доме умерло семеро из нас. Мы видели, как в последние часы они вступали в состояние безмолвия и становились прозрачными, как восковые фигуры.

— Я еще на войне научился вслушиваться в последние мысли умирающих. Перед концом они вступают в среду новых элементов, где предопределяется форма их будущего состояния. Но что еще важнее, и это уже вне всякого сомнения, перед кончиной малое „я“ светского порядка меркнет, угасает, и его место начинает занимать высшее „Я“, которое умирающий называет „Сам“, иногда в первом лице, иногда в третьем: я сам или Он Сам. Этот таинственный спутник и покровитель есть одновременно сам усыпающий и совсем близкий ему ангел-хранитель. Он не впервые открывается ему, он являлся еще в младенчестве, иногда в глубоком сне, а также еще раньше, о чем он теперь напоминает: „Я уж не раз переносил тебя через реку“.

Помню как радостно содрогнулся, когда мне в первый раз прочли: “По небу полуночи ангел летел„... Теперь пришел час вспомнить, что в тех путешествиях не было ничего страшного, напротив... Вспоминаю еще из предсмертных стихов Георгия Иванова:

„Был замысел странно-порочен
И все-таки жизнь подняла
В тумане — туманные очи
И два лебединых крыла.
И все-таки, тени качнулись,
Пока догорала свеча.
И все-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча...

— Я это чувствовал в ноябре двадцатого года, когда на пароходе „Рион“ мы навсегда уплывали из Севастополя по Черному морю. Мы хорошо подготовлены ко всякого рода переездам.

— Очевидно, что наша революция была для многих подготовкой к смерти. Мы скоро освободились от наших привычек, от наших вещей, иные из нас, наиболее удачливые, освободились от вкуса к приобретательству и с тех пор не начинали новых накоплений. Так что мы не удивимся, когда в один прекрасный день наши стулья и фотографии снимутся со своих мест,

выйдут на улицу и направятся в сторону какого-нибудь Блошиного рынка. Мы даже не цепляемся за книги, пусть их зашагают в Тургеневскую Библиотеку. — Да, все, что построено, обречено разрушению. Что значит сохранить? Я уже ничего не хочу подсказать, говорю так, как сам чувствую: все, что накоплено, должно быть растрачено, и не только в момент смерти, а сейчас, заблаговременно. И тогда начинается то, чего нельзя накопить — красота и любовь или вечное возобновление.

Так что вот, мы узнаем на опыте, как „смерть попирает смерть“. В этом весь смысл и красота бытия.

— И еще в пшеничном зерне, которое не оживет, если не умрет.

НОВЫЙ ГОД НА ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЕ

На персидской границе горы не высоки, это скорей каменистые холмы, без травы и без деревьев. Самые дальние из холмов были уже по ту сторону границы, они возвышались на горизонте синими силуэтами на светлом зимнем небе. На некоторых видна была башня. В свободные часы я ходил на обрыв, где сохранилось несколько сосен, садился в затишье от ветра и читал Коран и комментарии к нему.

Сила Корана в его чистой и огненной поэзии, которая непрестанно льется в продолжение всех 10.000 стихов, то как водопад, то как ручей, смывая с души накипь, под конец же, превращаясь в пламя, преображает и самые души.

Очищение души от всяческих забот, некое теплое дыхание, какая-то дружеская сердечность тона: „Если у тебя есть два хлеба, продай один и купи цветы: ибо хлеб пища для тела, а цветы — для души". „Не бойся говорить то, что считаешь нужным, тебя поймут, как и ты всех понимаешь: „О люди, сказал Сулейман (Соломон), я научился понимать разговор птиц" (Глава 27, „Муравей", стих 16).

Единственная реальность это Бог, природа это Его храм, а человек — служитель этого храма, уборщик или декоратор. Он изредка видит высших священников, ангелов.

С той зимы 1930 года я чувствую себя в долгу перед Кораном. Как и все священные книги мира, сколько покоя дала мне эта книга в тишине голубых утренних часов. Помню тонкий полумесяц на зеленоватом небе и рядом последняя звезда. С моего холма виднелось кладбище с белыми гробницами, а дальше в тумане Каспийское море. Далеко внизу проходила граница. На ее изломанной линии со столбами и проволокой иногда виднелись всадники, но нельзя было определить, советские ли то пограничники или персидские. У всех те же низкорослые пузатые от шерсти лошади и одинаковые папахи.

Мне казалось, что по ту сторону начинался обетованный край храмов с голубыми куполами, сады Шираза и Исфагани.

Рай начинался не сразу, сперва нужно было миновать зону такой же как у нас каменистой пустыни, где еще сохранились старинные почтовые станции и караван-сараи на тракте. Граница тогда охранялась не особенно бдительно, что и трудно было бы в этой пустыне — босые подростки доставляли нам оттуда заграничный табак. А что, не рискнуть ли? — не раз думалось многим из нас. Внизу, в овраге черные козы доедали чахлые кусты. Но мы надеялись, что в наступающем году большевики падут.

Весь окрестный пейзаж был для меня как Аравийская пустыня и мне мерещился то оазис, то пещера на окраине Медины, где Архангел Гавриил диктовал Магомету ту или иную из ста четырнадцати глав. Скоро я стал понимать, что Коран это, кроме всего прочего, автобиография Магомета и что по нему я могу учиться искусству писать. Писать как всадник, который мчится по бесконечным пескам, напористо, сдержанно-страстно, и писать непременно только свое и о своем. Всякий другой метод будет кража чужого — или неверие в свои силы — или идолопоклонство.

Открываю книгу наудачу и сразу нахожу подтверждение: „Эта книга идет от Владыки миров, дух верности принес ее с неба. Сейчас Он кладет ее на твое сердце, дабы и ты стал как апостол, она написана на арабском языке и стиль ее чист! („Поэты“, гл. 26, ст. 192 и сл.). Открывать можешь где угодно, всюду найдешь ответ. Вчера показалось, что сожительница одного из „уполномоченных“ косо посмотрела, когда я возвращался со стройки. Но „я возложил мое упование на Бога утренней зари, дабы Он избавил меня от ночной луны, задернутой облаками: от колдуний, которые дуют на узлы веревок: от черноты недружелюбия“ (гл. 113, „Бог утра“).

Я начинаю узнавать, что жить религиозно это значит не только работать для ближних и дальних, но также всматриваться в свою жизнь — в тот опыт, какой Бог дал тебе — а книги, кроме Священного Писания, это чужой опыт. И вообще, можно пользоваться чтением, но скорее как проверкой для своих заключений. И у каждой души свой религиозный опыт: „Все плоды земные питаются одной водой“ („Гром“, 13, 4). Или еще: „О, сыны, не входите одновременно в город; входите через разные ворота; Сам Бог сделал так, чтобы эта предосторожность оказалась для вас не излишней“ („Иосиф“ 12, 67).

По вечерам мы собирались в каменном бараке с разбитым окном, где жили втроем, Медведецкий, Васька и я. У нас была одна бритва и общий ремень чтобы ее править. Мы работали на стройке, но в наши обязанности входило также просвещать темное население — бороться с религиозными предрассудками.

Для этого из центра нам посылался литературно-критический материал и журнал „Безбожник“. Мы получали эти материалы, частью дактилографированные и недоумевали, как это в Москве не заметили, что такие рукописи, как „Комары и Свеча“, это огонь, который сжигает как солому весь атеизм, а заодно и „Диамат“? Или в центре этого не читали, или сердца тех чиновников окончательно окостенели и они на самом деле разучились понимать „Разговор Птиц“?

Для народа, переживающего трагедию, смысл коей к тому же еще не совсем понятен, разговаривать на важные отвлеченные темы было бы не целомудренно. Но у нас замечено, что чем дальше уезжают от центра, тем легче становится разговаривать в своем кругу. То ли воздух другой на окраинах, ветер из заграницы так действует, или непривычный пейзаж, но что-то размагничивало нашу обычную сдержанность. Собираясь после работы, мы курили из глиняных трубок контрабандный табак и вели беседы о чем вздумается. Мы острили над тем, как проводили сегодня антирелигиозную пропаганду. Я читал вслух что-нибудь из сборника „Мантик Уттаир“, („Разговор Птиц“).

О собственной нашей странной судьбе мы высказывали мнения, проникнутые фатализмом. „Сыновья Медины, для вас нет другого пристанища; возвращайтесь на ваши пути. При этих словах некоторые из верующих сказали пророку: позволь нам все же уйти; наши дома остались без защитников. Это было неправда, они думали, что если уйдут, им удастся избежать нового сражения“. („Заговорщики“, 33, 13).

Приучившись к восточной практике „двойных мыслей“, нам казалось, что мы получили золотой ключ от нашей тюрьмы для выхода на прогулку в любое время дня и ночи, так что уж никакие запоры нам не страшны. Пусть уполномоченный с портфелем неожиданно нагрянет из своего осиного гнезда, мы сумеем толково и спокойно ответить на самые каверзные его вопросы. А там видно будет. Ведь ничто не меняется в главных линиях и „Куда бы ты ни убежал, ты не скроешься ни от Меня, ни от себя. Все второстепенное пребывает в постоянном изменении, никакие земные правители не вечны и не в их власти вмешиваться в то, что предопределено наверху“ („Советы“, 12, 86).

В тот вечер под Новый Год, вернувшись поздно в наш лагерь, я присоединился к пиру (шашлык, разбавленный спирт и Кахетинское). Это была наша последняя ночь на границе, наутро мы должны были уезжать на север. Особенно огорчало нас, что все материалы по агитации надо было передать нашим заместителям. В последний раз я раскрыл „Разговор Птиц“ и прочел следующее:

КОМАРЫ И СВЕЧА

Будь ты аскет или любитель развлечений, это не имеет никакого значения. Но если твой ум не согласен с душой, отбрось и то и другое и ты достигнешь цели. Если твоя душа преграждает путь, отстрани ее, устреми взор вперед и пусти коня вскачь.

Если на этом пути тебе предложат отказаться еще и от веры, согласись и на это. Надо принять то, что труднее всего, надо пожертвовать сердцем, верой и неверьем. Путь в долину любви лежит через огонь. Больше того: нужно самому стать огнем. Откажись от сомнений и от уверенности и запомни раз навсегда: на этой дороге нет разницы между добром и злом. И то и другое перестало существовать.

Любовь это зверь, который пожирает все. Иногда он раздирает покровы души, иногда снова их сшивает. Он открывает двери в нищету и нищета оказывается богатством. Когда же не останется ни веры, ни неверия, твое тело и душа исчезнут и ты станешь достойным этих тайн. Да, таким надо тебе стать, чтобы туда проникнуть.. Иди без страха. И вера и неверье это забава для несовершеннолетних.

О ты, живущий без тревоги! Эти речи не для тебя, это слово не по твоим зубам. Кто честен, тот играет на все деньги. Другие согласны получить завтра (в жизни будущего века. Н. Т.), настоящий игрок суров, он требует, чтобы ему заплатили сейчас же, наличными деньгами.

Если ты не сгоришь весь без остатка, как избавишься от печали?

Когда волна выбросит рыбу на песок, та извивается, пока не вернется в океан.

Любовь это огонь, а разум — дым. Дым не может остаться около безумия любви и ей тоже ничего не нужно от него. Само бытие любви должно погибнуть от самоопьянения... Но ты не можешь этого понять, у тебя нет опыта. Я даже думаю, что ты и сейчас не влюблен. Ты мертв, тебе ли слушать про эти вещи? Кто вступил на этот путь, пускай запасется тысячами сердец, чтобы каждое мгновение жертвовать сотнями их...

...Однажды ночью слетелся рой комаров. Всех их терзало желание соединиться со свечой. Они решили выбрать одного из своей среды, кто бы мог раздобыть точные сведения о предмете их любви. Посланный полетел ко дворцу, где во внутренних аппартаментах, в глубине одной из комнат, в золотом подсвечнике стояла зажженная свеча. Он вернулся и рассказал

о том, что видел. Насколько мог, он дал описание огня. Но комариный царь сказал, что этот разведчик ничего не узнал.

Тогда другой полетел на огонь и приблизился к нему. Он коснулся пламени своим крылом, свеча победила и он оказался побежденным. Он тоже вернулся и постарался объяснить собранию, в неплохих стихах, кое-что о свойствах огня. Он смог дать понять, хоть и не совсем ясно, в чем заключается тайна слияния со свечой. Но царь сказал: твое объяснение не более точно, чем то, которое дал твой товарищ.

Третий комар взвился на воздух, пьяный от восторга. Упав в расплавленный воск, он протянул передние лапы в огонь, в то время как задними еще пытался продвинуться вперед. Он потерял себя и в радостном безмолвии слился с огнем. Пламя свечи охватило его, и все увидели, что на одно мгновение он стал, как она.

Когда царь издали увидел, как свеча слила свою сущность с комаром и уподобила его себе, он сказал: Этот узнал то, что хотел и перешагнул в вечность мгновения. Но он один узнал — и в этом все дело".

Чтобы сделали в Европе с таким комментатором Священного Писания? Его книгу сразу потащили бы на костер, автора тоже, а заодно и читателей. Но Ислам XII века пребывал в подлинной свободе.

Автор „Разговора Птиц", Фарид Удлин Аттар, был сразу же прославлен духовенством и учеными богословами, его современниками. Его книга не перестает переиздаваться во всех странах мусульманского мира и оценивается, как одно из совершеннейших мистических олицетворений любви человека к Богу.

ФЕССАЛОНИКИЯ

Это происходило почти полвека назад, в Греции. Как забыть тот зимний вечер в Салониках? Конец января, харчевня именовалась по старинному названию этого города — Фессалоникия, по имени сестры Александра Македонского. Я сижу снаружи, за деревянным столом, пью мутную ракию, а за окном цветет белорозовый миндаль.

Гражданская война закончилась. Наш эшелон перевозили на пароходе из Константинополя в Македонию, в этот день нас сгрузили в Салониках и перевели в вагоны, которые должны были стоять до вечера на запасном пути. Я отпросился у полковника посмотреть город.

После второго стакана я вообразил, что когда вернусь на станцию, наших вагонов уже не найду, их увезут в Югославию. И тем лучше. С моими десятью турецкими лирами я доберусь до Афона и тогда для меня начнется новая жизнь.

В сущности, я могу не возвращаться к вагонам, думаю я, смотря на море и на горы. Пейзаж, после каждого глотка крепкой ракии, становится все огненнее, голубее, золотистее, таинственнее. Хозяин кафаны разменяет мои лиры на греческие драхмы. Отсюда нетрудно добраться до Афона, который наш пароход обогнул в это утро. Уговорю монахов Пантелеймоновского монастыря принять меня послушником. Согласятся ли они? Ведь я без бумаг и без визы. Но ничего предугадывать не надо.

Вспомнил строку из „Одиссеи" — довоенные гимназические годы, когда я уже подумывал об Афоне:

„Неа кат океанон потамон фере кюма роойо", что можно перевести так: „В море корабль унесен перекатной зыбучей волною".

Пока хозяин наливал третий или четвертый стакан, я громко повторил этот стих, но он не понял и спросил: „Ти Руски?"

Нет, ничего заранее не загадывать, все предоставить року, который уж не раз выводил от красных, от зеленых...

Слева возвышается огромная белая башня, достопримечательность этого города. На горизонте, по ту сторону залива, виднеется Олимп, вершина его под снегом. Солнце заходит. Хозяин подошел, постоял недоверчиво, что-то спросил. Я вынул мой капитал, хозяин ушел и скоро вернулся со сдачей в греческих монетах. Их оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. Начало новой жизни не предвещало ничего хорошего, началось отрезвление.

Надо возвращаться к вагонам, где ждет ужин. Путь на вокзал идет по широкой улице Эгнатия. Иду, по дороге захожу в церковь. Становлюсь в стороне, в тени, около южного клироса.

Несмотря на поздний час, происходит таинство крещения. Крестная мать уносит младенца к свечному ящику, раздевает его, достает из свертка белые одежды, в которые его облачат потом. Священник молодой, его черная борода подстрижена. Новорожденный похож на белого червяка и почти не протестует, когда священник окунает его в теплую воду.

Разбираю надписи под фресками. „Агиос Димитриос, покровитель этого города". А вот и его гробница. Кое-где следы ремонта после разрушений 1917 года.

Пытаюсь распознать слова, произносимые священнослужителем и хором: „Эльфато хе василейа су" — „да приидет Царствие Твое". В церковном таинстве человек вступает в сношение с Богом, даже если он этого не сознает, как при крещении младенца. И не только тот, над кем совершается таинство, но, в какой-то степени и те, кто присутствуют при этом.

Новорожденный получил то же имя, которое ношу я. Мне почудилось в этом знак и указание: я тоже новорожденный и мне еще рано начинать новую жизнь. И, кроме того, наступает ночь и зачем я медлю с возвращением к своим? Там ждет ужин. Если вагоны уйдут без меня, это может оказаться опасным. Рассказывали, что таких как я, беспаспортных, местная полиция задерживает, сажает на советский пароход — и, катись, друже, в красную Одессу или Новороссийск. Там разберут, кто ты таков.

Осеняю себя крестным знамением. „Сделай, Боже, чтобы я застал вагоны на месте!" Там ждут друзья и приятели, но если я куда-то исчезну, вряд ли станут искать. Да и как найти в нашем положении, без русского консульства, и мало ли пропало других таких же бродяг на Балканах или на Дальнем Востоке в двадцатых годах?

Выхожу из церкви и, сперва быстрым шагом, потом рысью мчусь к вокзалу. О, вагоны! Сколько раз когда-то, еще до

потопа, еще не зная, что скоро вагонам предстоит меня спасать, я твердил для себя и для моих товарищей по лицею и по полку эти магические строки, посвященные вагонам второго, первого и третьего класса: „Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели“ (Блок).

И вот вокзал. Бегу по бесконечной платформе, в самый конец, спускаюсь по ступеням, поднимаюсь по другим, подползаю под товарными составами, сворачиваю в одну сторону, потом в другую, теряю направление, точно в кошмаре — и неожиданно оказываюсь перед моим вагоном, и полковник Таптыков кричит из окна: „Где это ты пропадал, чорт бы тебя забрал!“

Пока я шлялся, наступила ранняя зимняя ночь. С потолка вагона коптила старинная керосиновая лампа. Для меня оставили снедь: хлеб, корнбиф, яйцо и даже немного вина, что меня удивило: никак не ожидал, что вино не допьют. Стоял шум, доигрывали партию в покер. Потом стали устраиваться на ночлег.

Когда шум затих, я забрался на верхние нары, убавил свет в лампе и стал читать послание Апостола Павла к жителям этого города. В обоих посланиях к Фессалоникийцам оказалось много текстов, которые каждый помнит (в том числе Маркс). „Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь“. „Все испытывайте, духа не угашайте, за все благодарите, всегда радуйтесь“.

Сейчас мне кажется, что Апостол Павел, во всех своих посланиях, стремится внушить нам полноту ДОВЕРИЯ к Богу. Веру мы уже получили, но доверия в нас мало, иначе мы бы не были так озабочены вопросом, что станет с нами после смерти. Мы размышляем о бессмертии души, как будто это можно понять умом. Павел как бы подсказывает: если вы любите Бога, доверьтесь Ему, Он сделает так, как для каждого из вас лучше всего.

Вообще, размышлять о своем оригинальном и неповторимом „Я“, это один из видов идолопоклонства, где кумирами является — во-первых, эта сомнительная собственная персона, во-вторых, выдуманное нами „время“. Тогда, на запасных путях товарной станции Салоники, я это скорее смутно чувствовал, чем понимал. Однако простые, такие обычные мысли Апостола, как мысли крестьянина, шестьдесят лет проработавшего на земле, мне и тогда казались печатью Святого Духа, потому что они так просты и ясны для каждого.

Сейчас я думаю, что лучшие наши писатели, по виду наиболее простые, говорят об одном: как Россия поняла полученное ею Священное Писание.

Я не заметил, что вагон уже некоторое время катится, тяжело выбираясь из пригородов по расшатанным рельсам. В правом окне при свете луны, среди камней и кустов серебрился неширокий Вардар. Ночной мир с рекой и с тенями вагонов, скользящими по белым скалам. Этот мир был не менее прекрасен, чем тот, какой мне был показан, когда солнце заходило за Фессалоникийской башней.

Все было несокрушимое чудо совершенства в вечности мгновения, как бы уже наступившее Царствие Твое.

Примечание: В этом воспоминании имеется несколько тем. Описание одного дня начала эмиграции, греческие веяния — Олимп и Афон, ощущение вечности под солнцем и луной и еще то, что небольшое опьянение вином не всегда губительно. В малой степени оно порой может оказаться полезным.

В Евангелии рассказывается, как однажды больного опустили к ногам Христа в комнату, полную народа, разобрав крышу дома. Это может быть символ того, что иногда нашу „крышу“ — приходится „разобрать“, потому что интеллект часто мешает раскрытию сердца, без чего мы не можем получить спасения. Иван Карамазов одним умом не мог принять Евангелия и под конец был лишен своего острого разума, что может быть его спасло. То же самое происходит с блаженными юродивыми, и с некоторыми из нас от малой доли вина. Если вино не перешло в привычку, оно помогает победить гордость разума — которая препятствует Свету истины проникнуть в сердце.

РОЖДЕСТВО ВО ФЛОРЕНЦИИ

Хотя сегодня не православное Рождество, но Ан-Мари проснувшись сказала, что мы давно не были в церкви (« on va écouter le паки-паки» — она думает что по-русски так называется Пасха), и мы пошли в Tempio ortodosso Russo. Оказалось, что там служили рождественскую литургию для греков, которые перешели на новый стиль. Русских прихожан во Флоренции совсем мало, кажется и десятка не наберется.

Служат хорошо, то по-гречески, то по-славянски. В церкви много замечательных икон, прямо музей. Сторож итальянец, женатый на русской, подходит к нам со своими входными билетами, но вспомнив что мы не туристы, а пришли молиться, извиняется. Без туристов церковь не могла бы существовать.

Вспоминаю церковь в Смоленске и как я в те времена готовился стать монахом. Священник, о. Иоанн, встречая меня в коридорах гимназии, спрашивал: — Ну что? все подумакиваете? о монастыре-то? Но на Афон я лично не советую (он догадывался, что меня влекло туда южное море и горы), лучше в Старую Руссу, как Алексей Карамазов. Там с богомольцами со всей Руси будете встречаться, а в Турции заскучаете, а метаться из одной обители в другую — это не дело.

Впоследствии этот план рассеяла война, и хорошо сделала. Я бы не выдержал ни аскезы, ни продолжительных богослужений. Недолгие обедни и всенощные на рю Дарю в Париже — это как раз по моей мере.

Достояли до конца службы. По старости лет я раза два садился, зато Ан-Мари стояла, как настоящая православная, как столп и утверждение истины. После чего мы пошли через весь город в парк Боболи. По дороге купили на базаре сандвичи.

На базаре Ан-Мари села верхом на „порчеллино“ (свинка“, так называется огромный бронзовый кабан, его копия имеется в Лувре, и попросила скорее ее сфотографировать, пока не по-

дошел полицейский. Но тот все видел издали и только усмехнулся.

Мы перешли Арно по Старому Мосту с лавками ювелиров. Это одна из здешних достопримечательностей, о ней знал гоголевский Манилов, проектировавший построить такой же мост в своей деревне. Потом мы миновали дом, где сто лет назад Достоевский писал „Идиота“, что обозначено на мемориальной доске.

Боболи это большой сад, несколько километров в длину и в ширину. В правой его части цветники, лужайки и широкие аллеи спускаются к озеру. Пока туда идешь, из-под кустов появляется целое племя античных богинь — статуй эпохи Медичисов. А в левой половине, куда мы пошли, каменные лестницы среди зарослей террас, где поставлены железные кресла, открывается вся Флоренция: мосты через Арно, белые и розовые храмы, дворцы, сады, а вдалеке, в тумане, на склоне другой горы — пригород Фьезоле.

Здесь мы съедим наши сандвичи и останемся до вечера. Ан-Мари будет читать нудный роман Моравия во французском переводе. По стилю это некая смесь Максима Горького и Короленко, изображающая жизнь простых людей в эпоху фашизма. Потом Ан-Мари задремлет под солнцем, а я начну переводить гекзаметры из немецкой книги, которую на днях купил у букиниста за десять сантимов.

Книга разорвана, без начала и конца, я так и не узнал, кто ее автор и когда он жил. Предполагаю, что в эпоху Гете. А может быть это сам Гете? Нет, как будто другая музыка.

Да, сегодня Рождество, но какое? Античные воспоминания переплелись с христианским миром, причем первые преобладают во Флоренции больше, чем в других городах Италии.

Мне уже скоро 75 лет и моя жизнь, как и каждая жизнь, была сплошным чудом. Чудо — это все, что с нами случается: неожиданные встречи, переходящие навсегда в дружбу, как раз с теми кто нам нужен и кому мы нужны. Или книга, которая сама идет нам в руки („на ловца и зверь бежит“). Из вороха книг на прилавке букиниста она выползает как добрый и ласковый зверь и говорит „я отвечу на то, о чем ты думал за последние ночи“.

Чудо, когда попадаешь в незнакомый город и ходишь по улицам, вспоминая что столько раз их видал во сне. Все это случайности, но случай как раз и есть чудо.

Чудом для меня было родиться среди суровой, дисциплинированной семьи, закалиться среди снегов и революций. Когда же стало невтерпеж, я оказался перенесенным к Средиземному морю, потом в Париж.

Но главное чудо это, конечно, люди. Сотни, может быть тысячи людей, вагонные спутники, дети в городских садах, мимолетные встречи на концертах. Их никогда не забываешь и продолжаешь с ними разговаривать, когда они исчезли с твоего горизонта или даже если умерли.

Чудо не нарушает законов природы, эти законы нам не известны. Поэтому лучше думать не о чуде жизни, а ее святости.

Я отыскал свободный столик в кафе на пьяцца делла Синьория, заказал стакан оранжада и стал переводить гекзаметры неизвестного мне немецкого поэта.

Город затих. На камнях еще отблеск вечерний.
Вот прозвенел с фонарями фургон, отгремели колеса.
Люди теперь возвратились в дома, утомленные солнцем.
Площадь, где утром купцы торговали, давно опустела.
Впрочем из сада, на близкой горе еще слышится флейта —
Это влюбленный подругу зовет, или то человек одинокий
Все вспоминает друзей, что остались на поле сраженья.
Воды ночные поют посреди цветников и деревьев.
Времени счет простучал по доске инвалид караульный.
О, посмотри, как нежданно блеснув золотым привиденьем,
Тихо подкралась к сосне, в пол-оборота, луна.
Ночь наступила совсем. Но она равнодушна,
Вся из созвездий, чужая она, флорентийская дева
И торжество и печаль от нее опустились на город.

ГОЛОСА ИЗ АДА

За последние годы в России было написано несколько книг о советском режиме, его тюрьмах и концлагерях. Перечисляю главные из этих книг: „Раковый корпус“ и „В круге первом“ Солженицына, „Реквием“ Анны Ахматовой, воспоминания Светланы Аллилуевой, Гинзбург, Чуковской. В этот список надо еще внести фантастический роман „Мастер и Маргарита“ М. Булгакова, написанный 30 лет назад. Остальное написано недавно и опубликовано пока только за границей.

Список этот не полный. Всё оказалось обнародовано — случайно — к пятидесятилетнему юбилею советской власти.

За всю свою историю человечество никогда не знало такого продолжительного мучительства, издевательства над людьми. Благодаря этим книгам наши современники, где бы они ни жили, невольно задумаются о таинственной природе „бесов“, сатанистов, садистов, погубивших десятки миллионов людей. Одних замучили до смерти, других уничтожили еще ужаснее, исказив человеческую душу.

У Солженицына показаны жертвы и палачи. В „Круге первом“ 650 страниц, написанных от 1955 до 1964 гг. Палачи — вечно пьяные охранники, они сами дрожат за свои шкуры, зная что за малейшую поблажку к заключенным высшие власти их самих ввергнут в круги ада. Жертвы, приговоренные без суда на 15, чаще на 25 лет, вначале иногда пытаются протестовать, но скоро смиряются, потому что прокурор всегда готов надбавить срок и сослать поближе к Северному полюсу.

Менее сильные сдаются, одни раньше, другие позже, теряют человеческое достоинство, становятся циниками, иногда „стукачами“ — начинают доносить начальству на своих товарищей по заключению. Наиболее стойкие обречены на то, что их переведут туда, где не выживают больше двух зим.

Такой процесс физического и духовного уничтожения человека изображен в 87 очерках „В круге первом“.

Женам ссыльных, оставшимся на так называемой свободе, часто еще тяжелее чем их мужьям. Жен лишают работы, квартиры, свиданий с мужьями, принуждают отказаться от мужей и сойтись с каким-нибудь благонамеренным чекистом. Иногда муж сам умоляет в письмах жену развестись с ним и начать новую жизнь. Такие письма приведены у Солженицына, их трудно читать. Но палачи только смеются, а в главном „людоеде“ это тоже вызывает веселье и сатаническое возбуждение, обновляет его силы для новых подвигов.

Женщина нуждается в мужчине, мужчина в женщине. Сатанисты в эпоху Сталина разделили десятки миллионов пар. Это одна из огненных тем Солженицына, может быть наиболее страшная.

В самые грозные эпохи своей истории русские люди не могли представить ничего подобного. Солженицын не спрашивает что случилось с Россией, он только показывает то, что видел и что пережил сам.

Из этого мрака перейдем к „Мастеру и Маргарите“. Это фантастический роман и главная тема его — страх. Страх Пилата, заставивший приговорить к распятию Праведника.

В конце двадцатых годов в Москве появился сам сатана под видом профессора черной магии, по фамилии Воланд и в сопровождении нескольких мелких бесов. Они произвели переполох среди чекистов, сексотов и обывателей. В конце оказывается, что „не так страшен черт, как его малюют“. Хоть прямо об этом не говорится, но выходит, что советская власть омерзительнее самого сатаны.

Человеку дана такая свобода, что если он сам не поставит преграду своей злобе, по сравнению с человеком „князь мира сего“ покажется невинным младенцем. Воланд не заколдован человеконенавистничеством. Он не есть абсолютное зло, но скорей то, что ему, сатане представляется как предопределение. Он не радуется страданиям, он только не знает свободы.

У Сталина главной задачей жизни было не освобождение человека от эксплуатации, а умерщвление религиозности, т. е. души в человеке. Воланд, напротив, хоть он не может видеть Христа таким, как Он изображен в Евангелии, начинает свои разговоры в Москве с того, что объясняет атеистам реальность Христа, Который существовал исторически и существует сейчас. Воланд никого не умерщвляет, он лишь ускоряет то, что по его мнению неизбежно должно произойти: смерть барона Майгеля, превращение красивой служанки Наташи в ведьму, нестрашный переход Мастера и Маргариты в

смерть, с сохранением бессмертной души. Не в его власти что-либо изменить. Он может ускорить время, сжать или расширить пространство, как квартиру ювелирши, где празднуется бал чертей. Сам бал происходит вне времени, он длится одно мгновение. Ни один из чертей не является носителем абсолютной мерзости, чем был Сталин, а один из слуг Воланда, черный кот, не только забавен, но даже симпатичен.

Зато вот как описывает банкет Сталина некий чекист Орлов („Новый Журнал“, № 88, стр 254): „Чекист Паукер, когда все пировавшие были уже в сильном подпитии, симпровизировал перед „отцом народов“ сцену, как Григория Зиновьева тащили чекисты на расстрел, в подвал, и как Зиновьев, беспомощно повиснув на руках своих конвоиров, жалостно кричит, призывая на помощь старого еврейского Бога. Над импровизацией Паукера Сталин хохотал до упаду. Но это не помешало ему через два года расстрелять самого Паукера“.

Из всей перечисленной литературы, из всего что до нас дошло из кругов ада, мы знаем о благотворной роли, какую там играют женщины. Замученных мужчин за период сталинщины насчитывалось 12-15 миллионов („В круге первом“ стр. 352). Их жены, матери („Реквием“ Ахматовой), дети вынесли иногда еще больше. Почти так говорит Мастеру Маргарита: „Ведь ты знаешь, я всю жизнь вложила в твою работу“. Дальше Воланд предсказывает Мастеру что-то очень важное: „А вам скажу, что ваш роман принесет еще сюрпризы... нет, нет, это не грустно, ничего страшного“.

Здесь скрыто уже настоящее пророчество. Мог ли предполагать Булгаков, что через 27 лет после его смерти кто-то разыщет его рукопись, что еще до окончательного падения советской власти большевистский журнал „Москва“ напечатает ее и что ее начнут переводить и комментировать во всем мире?

Как не вспомнить о подвиге женщины в течение всей истории России? Булгакову, Солженицыну, Анне Ахматовой, Чуковской, как их общему предшественнику Достоевскому, открылось, что понять тайну ИСТОРИИ — ее мрак и свет — один мужской разум не в состоянии. Женщина по своей природе понимает вещи не головой, а сердцем. Женщина не поймет ни Гегеля с Марксом, ни богословия, ни оккультизма, но именно поэтому она может ясно увидеть то тайное из чего мы вышли и что нас окружает. Как Грушенька среди запутанного семейства Карамазовых, Маргарита обладает даром ясновидения.

В конце романа Маргарита преодолела всякий страх. Она не хочет разбираться в мерзостях ее города, Москвы, в лени-

низме и в сталинизме. Сталин, как и Ленин, опирается на насилие, т. е. в первую очередь на непримиримую борьбу с Христом.

Как раз потому, что большевизм ей совершенно чужд — как и всякая другая социальная теория — Маргарита так блестяще исполнила двойную роль своей жизни: стать возлюбленной и сотрудницей Мастера и временной царицей на балу сатаны.

Что же именно она ясно видит и ощущает? Прежде всего демоническую природу всякой власти, которая всегда есть власть „партии и правительства". Нынешние носители власти, комиссары, не подозревают в себе никаких демонических свойств. Маргарите все открылось и ее ничем нельзя удивить. Сердцем она знает, что демоны не всесильны. Она среди них, как „Алиса в стране чудес" среди сил природы. После минутного испуга она соглашается сыграть роль царицы на бесовском балу, предчувствуя что тем сможет спасти Мастера и труд его жизни.

Бесы и на самом деле узнали в ней царицу и исполняют все ее желания: спасти Фриду, спасти книгу, спасти Пилата. Она сильнее всех бесов, потому что воочию видит жизнь в ее целом: всю правду жизни и всю ее неправду.

Но Маргарита не в состоянии ничего объяснять, что, кстати, полезно для понимания этой замечательной книги: объяснения испортили бы все дело.

Правда, это любовь, которая может все. Неправда Воланда и его присных в их подчинении „факту", с которым будто бы ничего нельзя поделать. Любовь расколдовала всех, вплоть до Пилата.

Сюрприз, который принесет книга Булгакова, есть развенчание „поэзии от Пилата" или победа над судьбой. Об этом пишет Г. В. Адамович в своей книге „Комментарии" на стр. 79. Это происходило в Париже в то время, когда Булгаков начинал писать свой роман о Пилате и о бесах в Москве. Адамович разговаривает со своими друзьями о современной поэзии:

„Поплавский помолчав, сказал, будто подводя итог своим возражениям:

— Знаете, что это такое? Это поэзия от Пилата.

Остроумно в высшей степени: умываю руки, не могу сделать того, что хорошо, но не хочу и участвовать в том, что плохо. В устах Поплавского это был упрек".

Искушение, выпавшее на долю Пилата и многих других встало с особенной силой перед каждым гражданином СССР:

нужно активно принять участие в осуждении „врагов народа“, кто не поднимет руку за их смертную казнь и при этом не будет славословить главного вождя, сам окажется схваченным, подвергнутым мучениям и смерти. Как вспоминают сейчас в России многие, в том числе Твардовский — о собрании в Кремле, со Сталиным на трибуне:

... и рта открыть ему не дав,
Мы дружным хором восклицали:
Ура, он снова будет прав!“

АВТОСТОП

Итак, запасемся терпением. Вчера удалось промахать пятьсот километров, нет причины что сегодня постигнет полная неудача. Один из туристов остановит свой Мерседес и спросит: — Вам куда? Отлично, и мне туда же. Садитесь.

Но турист пошел злой, вчера утром пришлось ждать больше двух часов. Мчатся машины, широкие, синие, белые, роскошные. Иногда скромный 2 *л. с.*, это, конечно, торговый представитель, но от него мало проку, он объезжает соседние села и его пришлось бы приглашать в кафе.

Колымага красивой торговки с круглыми как жернова, сырами. Фургон с живыми коровами. Красная цистерна с бензином, голубая с ликером Бирр. Я стою на ровном месте, меня видно издалека, но все делают вид что не замечают. Пронеслись две женщины, они обычно злее мужчин и чего-то боятся. Семейство белокурых скандинавов. Грузовик с ящиками фруктовых вод, пивом и Кока-Кола. Бутылки блестят на солнце, на них брошена рыболовная снасть значить человек едет к морю.

Я уже обернулся влево, высматривать кто следующий, как вдруг — о неожиданность! — шофер-рыболов круто тормозит и даже движется ко мне задним ходом. — Тебе к морю? — кричит он, — садись, будешь помогать разгружать товар.

И вот пошли мелькать поля и леса. Я сижу рядом с шофером, а мой мешок валяется сзади среди бутылок. В несколько секунд мы проносимся сквозь какую-то индийскую рощу с темносиними деревьями, потом мимо поля залитого водой — это, вероятно, опыт с рисовыми плантациями, — потом мимо селенья с колокольней, которую я уже давно заметил на горизонте. Скоро появляются первые кипарисы на холмах.

Мой благодетель долго молчал, ни о чем не спрашивал. Иногда он останавливался перед продовольственными лавками и мы сгружали нескоько ящиков, после чего нам предлагали по стакану вина. Это уже был настоящий юг, женщины на фермах говорили на каталонском наречии. За бамбуковыми зарос-

лями журчал невидимый канал. В жарком предвечернем мареве обозначились голые отроги гор и пахнуло морем.

Вынимаю тетрадь и говорю. что хочу записать несколько мыслей в дневнике, шофер предлагает остановиться, говорю — не надо и записываю что-то в таком роде:

Чрез косогоры на дальний вал
Неслись моторы за перевал,
В туман печали, в поля луны,
И замелькали в горах огни.

Уж приближался заката час,
Приморский ветер овеял нас —
И ночь сквозь вечер,
Как друг во сне,

С горы навстречу
Идет ко мне.

— Меня зовут Жан — сказал шофер, — а тебя как? — Я сказал.

— В каком городе ты родился?

— В Москве.

— Что ты написал в своей тетради?

Объясняю, что написал по-русски, но могу перевести и перевожу очень приблизительно, по Гераклиту: — Мы мчимся в ночь, в новую войну, в смерть. Едва родившись, думаем с кем бы подраться, потом нас убивают и по ту сторону моря мы встречаем то, чего не ожидали.

— Ты работаешь для газет или пишешь рекламы для похоронных компаний? — спросил Жан.

— Скорее для газет.

На товарной станции в Нарбоне мы нагрузили нашу колымагу новыми бутылками, после чего долго обедали в ресторане железнодорожников. Среди кустов и вагонов дремали какие-то смуглые люди, среди них были женщины и дети. Я принял их за цыган, но оказалось, что это испанцы, пришедшие из-за Пиреней на сбор винограда. Жан отозвался о них с пренебрежением, как о темной, суеверной массе, не просвещенной диалектическим материализмом.

К нашему столу присело несколько железнодорожников и шоферов. Среди них выделялся мрачный атлет Лулу, оказавшийся застенчивым и доброжелательным. Жан поручил ему доставить меня завтра утром на ферму, куда я направлялся.

При этом Жан сообщил мне, что здесь все своя компания, можно говорить свободно, „желтых“ нет.

Меня он представил с видом собственника, как свое открытие. После нескольких стаканов он заявил, подмигнув, что в одном отдаленном городе, начинающемся на букву М, о нем хорошо известно: там хранится бумага с его подписью под воззванием о мире и другая, с поздравлением одному знаменитому человеку по случаю его семидесятипятилетия. Я подтвердил, что это вполне возможно.

Бутылки с красным вином осушались и сами собой появлялись новые. По просьбе Жана, я провозгласил тост о дружбе всех без исключения простых людей, всех населяющих нашу планету народов и это было принято, как откровение.

Когда кто-то непочтительно отозвался о кюрэ, я заметил что это вопрос сложный, требующий большой осторожности, хотя бы потому, что многим простым людям церковь еще нужна. К моему удивлению, Жан и это одобрил и даже закричал на весь ресторан! — Вот что называется настоящая революционная тактика и ленинская культура!

Вокруг кричали, пели, стаканы звенели, а я вдруг перенесся к самым истокам культа Ленина, почти на полвека назад. Я вспоминал, как обучались политграмоте красноармейцы первого пулеметного батальона имени Карла Либкнехта. Батальон стоял на сахарном заводе под Ворожбой. Только что прибыл новый политрук. Я, как офицер старой армии, не имел права присутствовать на занятиях политграмоты, но знал от некоторых красноармейцев, как велись эти занятия.

Ничего особенно интересного там не происходило, все сводилось к пользе социализма, который перерастает в коммунизм. Все давно знали об этом из газет или из стихов Маяковского. Но для солдат особенно выделяли роль непогрешимого вождя, напирали на мудрую, благостную, непогрешимую личность Ленина. Уже тогда (весна 1919 г.) стало намечаться одно важное качество этого праведника, которое впоследствии станет играть первенствующую роль в посмертных его житиях: о русском патриотизме великого революционера.

Его портрет висел над трибуной оратора. Вождь был сфотографирован в пальто и фуражке рабочего и был похож не столько на мастерового, сколько на педантичного учителя уездной гимназии, не сомневающегося в абсолютной истине того предмета, который он преподает. Впоследствии его изображения приобретут имперскую величественность.

Ленин все знает. Он не командир, командир — это сам народ, Ленин только рулевой на пароходе и он выведет нас на

простор из вражеского окружения. Такие аллегории ежедневно повторялись во всех казармах и заводах.

Это внедрялась в мозги нехитрая механика силы, власти и национальной гордости, что скоро повторилось в Германии, а сейчас в Китае. И гипноз действовал, особенно в первом поколении, на молодых солдат. Армия, которая верует в непогрешимость вождя, это организация сумасшедших, особенно опасных, когда они окончательно дисциплинированы, т. е. разучились думать.

Все партии и догмы одинаково вредны, потому что они создают коллективную ложь за счет индивидуальной свободы. Только подлинная свобода, не будучи закрепленной в организацию, постоянно обновляется, как жизнь и, как жизнь не может быть объяснена словами.

Сейчас я хотел сказать Жану и Лулу: новый мировой пожар уже начался, если вы не вывернете ваши души наизнанку, не освободитесь, пока еще есть время, от дисциплины и орга-
не освободитесь, пока еще есть время, от дисциплин и орга-
низаций, все взлетит на воздух. Свобода не должна превращаться в большевизм и ни в какую другую догму. Вы спите, а новая война накапливает силы и передвигает армии, как фигуры на шахматной доске. Специалисты, профессиональные революционеры с их коллективами и газетами зорко следят что-бы никто из вас не узнал свободы.

Но я не сказал этого. Все равно никто ничего бы не понял, даже если бы они не были пьяны. Они могли только шумно выражать свое одобрение человеку из Москвы.

Они дети, им нравится махать руками и топать под столом ногами.

ПИСЬМО В РОССИЮ

Дорогой Юрий,

Прочла в московском ежемесячнике твои „Страницы прошлого“ и решила ответить из Парижа.

Утром был ясный, торжественный, солнечный день. Первый день весны, так золотисто коричневеют деревья на бульварах, дети играют под деревьями и все по-новому празднично, даже этот ранний свет в витринах. Но и как грустно от всего этого. Сколько проходит несчастных, одиноких людей, к которым никто не подойдет, не возьмет за руку, не улыбнется им дружески-ласково.

Ты мне пишешь, что среди вас нет одиноких. Ты думаешь ли это действительно, мой друг? „Лес рубят — щепки летят, потом увидим, что хорошо, что плохо“. Как это безжалостно. Гордость — она ведь разная и одиночество, как оно ужасно страшно и ужасно глубоко сидит в людях. Даже и представить жутко, до чего каждый человек одинок.

Конечно, внешне может быть партия и объединяет людей, но что знаете вы действительно друг о друге? Уж не стал ли ты слеп к страданиям? Внешне все мы преодолеваем страдания, может быть вы даже и лучше нашего это делаете, но ведь это же только внешне, ведь этим же только скрывают, но не разрешают их. Милый мой, не знаю почему все у меня так неудачно получается, когда я так хотела бы тебе все это объяснить, всю эту дрожь перед ценностью всякой жизни человека и травы и дома... Все так просит: обращайтесь с нами бережно, не ломайте нас, вы еще не знаете нашей правды.

Где и когда растерял ты нежность своей души, над которой ты готов острить. Я не люблю острот, от них только еще больше боль, которая за ними скрывается, а помочь труднее.

Как они меня огорчают, твои письма, добро бы этот бодрый тон был твоим — ну что же, прекратилась бы наша переписка и не было бы тревоги за тебя. Но вот, чувствую в тоне твоих писем какую-то „форсированность“, что меня тревожит и

огорчает. Если плохо человеку, темно, мрачно, если холодна и одинока жизнь, зачем же скрывать это, зачем обманывать самого себя, и так неубедительно обманывать. Твои ссылки на „организованное счастье“ детски слабы. Как можешь ты не замечать несостоятельности всех этих построений. А несостоятельно потому, что уж слишком все упрощено.

Я не говорю что надо нарочно усложнять жизнь, нет, совсем нет, тем более внешнюю жизнь: экономическое положение, условия работы, еды, передвижение и все такое, но сама жизнь гораздо сложнее всего этого. „Не единым хлебом и... не единым задором жив человек“. Все мы глубоко метафизичны. И все наши несчастья происходят не только оттого, обедали ли мы вчера и сегодня, а оттого, удалась ли нам наша метафизическая жизнь.

Таковы люди, таков и ты, и нечего это душить (всю эту глубину), ибо когда-нибудь ваша игра разразится катастрофой.

Боюсь, наступит момент, когда все вы вдруг загрустите (а привыкши отрицать в себе метафизическую жизнь, не сможете понять своей грусти) и так ни с того ни с сего зачахнете... и „здоровую, счастливую жизнь страны“ сменит одинокое умирание без тепла и даже без воспоминаний.

Приходится и нам здесь иногда делать вид что «tout va bien», когда мы на людях, в чужом доме, ну а вы производите впечатление людей, которые всегда где-нибудь в гостях. Уж очень вы разгулялись, друг мой. Я все жду, когда же ты придешь к себе, сядешь закурить и печально покачаешь головой, и тогда это будешь ты. Нельзя же всегда играть в театр.

Кажется, будто детство у вас в моде, все вы вдруг навсегда стали веселыми и бодрыми детьми. Не слишком ли вы молодитесь, есть какая-то нечестная игра во всем этом.

Ну, хочешь со мной говорить по-человечески, по-взрослому? Большинство людей страдает от различных причин глубокой внутренней болью и в большинстве случаев усиленное внимание к внешностям жизни именно потому и происходит (от боязни усилить эту боль). Поэтому так часто радуются живым веселым людям, т. е. „не говорите, не подчеркивайте боли, мы хотим забыть об этом“. Еще страшнее невольно вызывать боль. И большая благодарность, когда этого нет.

Допустим, что борьба с жизнью требует известной доли актерской игры, но нельзя же когда остаешься сам с собой все продолжать играть. А ведь когда ты мне пишешь, я хотела бы, чтобы ты оставался как будто сам с собой. Так я делаю, когда тебе пишу. Ведь и мне приходится бегать, разговаривать с разными чужими людьми, в общем пытаться защищаться от жиз-

ни, но я не хочу себе лгать, не хочу продолжать дома эту гнусную игру. Не надо же забывать, что это лишь игра.

Ведь нельзя же всю жизнь прожить во сне, как-бы приятен он ни был. Надо найти храбрость открыть глаза и признать, что увлечение есть увлечение и ничего больше. Что метафизические страдания суть страдания, которые так просто, поленински, отменить нельзя, да и бесполезно, потому что плохо это и трагически кончается.

И когда разговор возникает об одиночестве, то партия тут не причем. Все члены КПСС все-таки бесконечно одиноки. Я прекрасно помню Снегирева, Сыромятникова, Галактионова и других, с кем ты учился в Ярославской гимназии.

Думал ли ты когда-нибудь, что всякие коллективы, подобные вашим, это инстинктивная попытка защиты от ужасного одиночества, которое таким холодом окружает человека, и что, увы, эта самозащита безнадежна, так как не настоящее происходит объединение, не в том плане. В плане физической жизни люди рядом, товарищи, знакомые, которые в нужный момент позаботятся о здоровье. Но дело совсем не в этом.

Дорогой мой друг, увидимся ли мы с тобой? Прошу тебя, не черствей, очень прошу. Позволь тебе напомнить что-то из твоего прошлого. Когда тебе было шестнадцать лет, ты с ужасом представлял себе, что жизнь заставит тебя в конце концов к ней приспособиться, ожесточит до полной потери первоначальной глубины и незащищенности... Ты даже вероятно не знаешь, как легко духовно ранить, может быть убить человека... Оттого что мы спим, что мало у нас сердца и как часто мы проходим спокойно мимо тех, кто больше всего требует внимания.

Чему я могу тебя научить? Для себя сами мы ничего не знаем, ты прав. Приходит утро, и я не знаю, вставать ли или лучше снова лечь в постель, жить ли, как, что делать, как действовать, так хочется покоя и невмешательства даже в собственную жизнь. Иногда инстинктом чувствуешь неправильность какую-то в этом замирании в холодном, но покойном состоянии.

Но это для себя. Но вот для тебя, ведь для тех, кого мы любим, мы знаем, что нужно, и утверждаем их жизнь и требуем, и готовы вмешаться. И нас останавливает только страх ответственности. Ведь раз вмешавшись в чью-нибудь жизнь, нельзя ее оставлять. Надо всегда неустанно над ней бодрствовать, ее видеть и для нее видеть. Но все-таки силу свою не надо преувеличивать.

Хотелось бы письмами сократить расстояние между нами и приблизиться к тебе. К тому же так трудно — или же я не умею — в письмах объяснить то, что так легко полностью можно передать в разговоре. Видишь ли, я сейчас написала, что мы лучше знаем для любимых нежели для себя. Мне кажется, ты поймешь меня сразу. Ведь знание о любимых нами не есть знание разумное. Любовь есть то таинственное благое проникновение, видение лучшего человека в том, кого мы любим. И в извлечении этого „лучшего человека“ наружу и состоит вся задача любви.

Хочется только тебя предупредить об одном, ничего не делай без любви. Всякое дело, и твое дело в том „коллективе“ очень ответственно. Если ты любишь тех людей, ты не можешь принести зла. В основе своей любовь всегда добро. Не только одно желание добра, но и активное вмешательство в делание добра.

Не ищи больших, шумных дел, ни к чему это, да и утомительно. Но если ты не любишь, то лучше оставь их. Вот что я хотела тебе сказать еще раз (много раз было говорено и еще много раз, вероятно, будет повторено). Очень ведь трудно жить с людьми, которых не понимаешь, не любишь, замкнувшись в круг холода.

Человек ошибается когда говорит: „я сам выбрал свою жизнь“. Потому что у него нет еще жизни, а появится она тогда, когда ее вызовет тот, кто его полюбит, увидит. Тогда человек родится вторично и на этот раз для настоящей жизни.

Вот что хотела я тебе написать, да забыла, как всегда в письмах забываешь написать самое важное что нужно сказать. Так вероятно завтра окажется что я снова забыла написать что-то самое главное.

Отчего скажи, так путаются мысли в голове. Днем, сидя за работой, все думаешь: вот приду домой и напишу Юрию вот это и вот то, а когда приходишь, оказывается за день все растеряла. Хорошо бы иногда сидеть рядом.

Много сейчас думаю о нашей родине, это благодаря тебе, так глубоко связанному с ней. Без тебя этого конечно не было бы. Мне, признаться, немного это чуждо — любовь к целой стране. Ты меня прости, что у меня невольно получается «vous autres», это не от недостатка любви и уважения, а просто потому что мне чужд всякий коллектив.

Ведь основное свойство русских одновременно составляет самую прекрасную и самую непростительно-ужасную черту их личности. Это легковерие души, так легко переходящее в легкомыслие. То что называется широтой русских, „душа нараспаш-

ку“, что приводит их к бесконечному идеализму — это быстрая вера положительно во все, эта стремительность увлечений, от которой так много зла из-за легкомыслия. Ведь знаешь ли ты, что ни один человек не сделает так много зла, как ничего не подозревающий легкомысленный.

Как много непоправимых ошибок сделано нами по нашей „замечательной легкости мысли“, как одобрительно сказал про себя Хлестаков.

Ты знаешь, я еще в Ярославле боялась этой нашей широты, еще до той войны. Именно нам (и никому другому) мне хочется посоветовать, немного скептицизма, немного серьезного недоверия к себе, но боюсь, как бы и это не превратилось у нас в учение. Какие только непогрешимые „учения“ ни торопились мы применить в жизнь и как можно быстрей и стремительней. Друг милый, знаю что ты глубоко в корнях „почвы“, не обижайся, а помоги мне очнуться от страха перед всякого рода традициями, культами и национализмом.

Иногда чувствую у знакомых близких (все ведь русские) — вот, неминуемо случится беда, и невозможно предотвратить. Никто не поверит. Разве же это такое наслаждение — упоение своей свободой выбора? Но ведь это тоже детская игра. А игра сжигает, и тепла не оставляет. Огонь, холод — все одно. А жизненное, любовно творящее тепло, в игре коллективов исчезает.

Ну, прощай пока и будь счастлив. Я не учу тебя, я только так говорю — жалуюсь.

А жаловаться, собственно, не на кого. Ничьей вины нет.

Твой друг *Наталья Тимашева*

ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ

(Заметки на полях книги „Мастер и Маргарита")

МАСТЕР. Настоящая Реальность пребывает вне материального мира, по ту сторону пространства и времени. Наш космос связан с ней, но лишь отчасти. Сущность настоящей Реальности не может быть вполне постигнута рассудком.

Эту высшую Реальность человек иногда ощущает или хотя бы стремится к ней, но не столько разумом, а тем, что мы называем „сердце". Сердце это та область в человеке, которая питается добром и живет в лучах настоящей Реальности.

Если разум не засох окончательно, отделившись от высшей Реальности, он догадывается о ней. Про такой разум говорят, что он религиозен. Он стремится туда, где нет вражды и борьбы за существование, а есть одна любовь.

Вражда и война давно уничтожили бы жизнь, если бы над природной жизнью не возвышалось добро, истина и „мирное сосуществование" каждого со всеми. Вполне ли это понятно? „Человек по-настоящему мыслит лишь тогда, когда он думает о том, чего его мозг не может продумать до конца" (Гете).

„Тот кто станет упрекать автора в запутанности его размышлений, пусть вглядится в себя и увидит, что в нем самом далеко не все ясно". (Гете). В любом романе „социалистического реализма" на первый взгляд все ясно. Соцреализм и царство мира сего понятны: они хотят превратить нас в рабов или в солдат. У Михаила Булгакова при первом чтении почти все непонятно.

„Мастер и Маргарита" — призыв к свободе. Мастер со своей подругой в конце книги найдут полную свободу с помощью мудрого демона (это слово надо понимать в том хорошем смысле, какой придавал ему Сократ в диалогах Платона). Ради их освобождения Воланд со своими присными появился в Москве. Воланд уведет их из советского „смешливого ада" — это термин из житий святых, он относился к языческому Риму начала хри-

стианства. Они обрели свободу, пройдя через смерть, и сам мастер в первую минуту не понял, что с ним происходит: — Отравитель! повторил он с ненавистью Азазелло (подручному демону Воланда)... — Неужели вы слепы? Но прозрейте же скорее, говорит Азазелло. — А, понимаю, сказал мастер, вы нас убили, мы мертвы. — Ах, помилуйте, ответил Азазелло, — вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером, как же вы можете быть мертвы?... — Я понял все, что вы говорили, — воскликнул мастер, — не продолжайте! Вы тысячу раз правы!

— Великий Воланд, стала вторить Маргарита, он выдумал (наше освобождение, Н. Т.) гораздо лучше, чем я!"

МАРГАРИТА. Высокая поэзия не боится смерти. Но кроме того она, как Евангелие, может совместить чистую радость и спасительное страдание. Эту истину не мог понять логический римский ум кесарева наместника Пилата.

Маргарита у Булгакова, как и Маргарита Гете живут в отблеске высшей Реальности. Эти женщины никогда не усомнились в любви. Для них даже сомнительная физическая любовь направлена к всемирной красоте и если она обращена на определенный объект, это следствие некоей таинственной перестановки, над чем женщины не задумываются. Но ведь и нас, с нашей мужской логикой, не соблазняет то, что мистики всех стран в своих обращениях к Самой Высокой Реальности пользуются языком влюбленных. Одни влюбленные могут по опыту говорить о вечности и об отсутствии смерти, остальные способны лишь плагиировать их высказывания.

Маргарита живет сердцем. Она живет в сердечности, иногда в сердитости, например, когда она громит квартиру негодяя Латунского, который всячески старался погубить мастера и на 25 лет задержал печатание его книги. Маргарита не спорит с марксизмом, под знаком которого она принуждена жить — она его не замечает.

Марксизм учит: количество всякого „добра" (товаров) должно рано или поздно привести к качеству, к подлинному добру, когда прекратятся за ненадобностью борьба за существование и война. Таким образом материализм приписывает материи способность автоматически производить доброту. Маргариту эта невероятная чепуха никак не может соблазнить, она не считает нужным спорить с таким учением.

Воланд и его окружение стоят на более высоком плане, они не поклоняются идолу материи, поэтому Маргарита их не боится и принимает всерьез. Почти сразу она почувствовала в них друзей, которые спасут мастера и его книгу.

В демонской иерархии на крайнем пределе зла стоит Вельзевул — князь тьмы, сатана, лгун и материалист. В книгах Булгакова о нем прямо не упоминается. Но Воланд это совсем другое. Это Мефистофель Гете, иронист. Он знает с каким трудом пробивается человек к свету и вольно или невольно помогает людям осуществлять добро. Эпиграфом для своей книги Булгаков выбрал такой текст из „Фауста“ Гете (чем облегчил задачу своим будущим комментаторам): „...Так кто ж ты наконец? — Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо“, говорит Воланд-Мефистофель.

Ни Коровьев ни Азазелло не пали до дна той пропасти где царствует дух отрицания, Вельзевул. Кот Бегемот это добродушный Бафомет. Все эти персонажи вполне очеловечены, их ирония не переходит в сарказм, сатанинское свойство вечного злорадства — когда радуются страданиям и поклоняются злу.

Если Воланд уводит с земли мастера и его подругу, это для того чтобы спасти их из той советской ночи, где они рискуют потерять душу.

Реальность потустороннего мира и реальность природной борьбы на земле не исключают одна другую, наивно было бы так считать. Первая есть Царство Благодати или Славы, вторая — царство необходимости или природы. Между ними находится царство человека или свободы. Человек свободен выбирать одно из двух: либо уснув возвратиться в царство природы, из коего он когда-то выбрался, либо бодрствовать и подняться в Царство Благодати.

В промежуточном царстве человека обе реальности сплетены. Взрывчатая сила этой книги Булгакова (а также, в меньшей степени и других его книг) заключается в откровении этого временнного переплетения светлого идеала с темной материей. Один идеализм дал бы ущербную религиозность в отрыве от трудных условий, в каких мы принуждены жить. Один материализм, типа „социалистического реализма“ есть, вопреки советским критикам, начало не творческое и неизбежно приводящее ко злу.

Еще до встречи с Маргаритой мастер поднялся над царством необходимости, чем и привлек эту женщину, сердце которой все узнало о Царстве Благодати. В каждом человеке живет своя Маргарита, это та часть нашей души, которая вопреки всему не сомневается в конечной победе добра.

Маргарита спасла мастера и его книгу, а заодно и других, которые подобно Пилату, подчиняясь необходимости, не боролись со злом, хотя и не соглашались с ним в душе. Обычный человек слаб и труслив, но все же не поклоняется злу.

Две тысячи лет Пилат в своем каменном кресле терзался муками раскаяния за проявленную трусость, пока Маргарита

не приказала горам: „Отпустите его!“ (стр. 211). А перед этим та же Маргарита, Вечная Женственность, пожалела и освободила Фриду (Фрида — вариант той, первой Маргариты у Гете), когда после бала, на мгновение забыв о мастере, воспользовалась полученной от Воланда властью и приказала: „Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка“. (стр. 163).

Так Маргарита не раз разрывала безвыходный закон необходимости и освобождала людей от власти „реализма природного порядка“.

... — А вам скажу, — улыбнувшись, обратился Воланд к мастеру, — что ваш роман вам принесет еще сюрпризы.

— Это очень грустно, — ответил мастер (который не привык к приятным сюрпризам. Н. Т.)

— Нет, нет, это не грустно, — сказал Воланд, — ничего страшного... Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию?

— Что вы, о, что вы, мессир!..

ПЯТЬДЕСЯТ СТАРИКОВ В НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Автобус вез нас на запад от Парижа, за город Ильие, где Марсель Пруст ребенком проводил свои каникулы.

Нас было пятьдесят туристов, собравшихся с разных концов света. За Шартром начались прустовские пейзажи, пустые поля с селами на горизонте и мы все всматривались в зимние сумерки и искали те колокольни, на которые смотрел десятилетний Пруст, сидя на козлах около кучера (как я когда-то в тверской губернии) и замечал кто колокольни то вытягиваются одна за другой, будто гуси, то сближаются в треугольник и вдруг одна вырастает над самой коляской, запряженной парой в дышле.

Все мы в этом автобусе родились в эпоху патриархальную. Для меня это была эпоха Чехова, для французов — Пруста, для американцев — поэтессы Эмили Дикинсон. После первой мировой войны наше поколение пережило полнейшее преображение общества, во всех странах, не только в России.

Эти грандиозные перемены были вызваны все ускоряющейся индустриализацией и еще какими-то причинами и мы в этот зимний вечер старались всмотреться в собственное детство, с тайной надеждой понять, что произошоло и какой опыт мы, усердные читатели Пруста, вынесли на восьмом десятке жизни из наших переживаний и размышлений.

Солнце заходило, когда автобус остановился в узком переулке перед домом tante Léonie.

Сад — шесть шагов в ширину и столько же в длину. Дом и та лестница, на которой Пруст ждал ночью свою мать — с чего начинается его погружение во Время, напрасно „утраченное" или в грехопадение Адама — все это оказалось совсем миниатюрным, гораздо меньше, чем мы представляли. Комнаты — точно для кукольного дома. — Неужели в моем детстве все было такое микроскопическое? — спросил англичанин.

Недавно в доме установили центральное отопление и провели электричество, но так, чтобы старинные керосиновые лампы оставались под своими зелеными абажурами.

В детской сохранился трогательный „волшебный фонарь" и на тумбе у кровати книга Жорж Санд, которую мать Марселя читала ему в ту тревожную ночь, с которой началась хроника его жизни.

Вся утварь была как в музее: неудобные декадентские стулья, прибор, чтобы колоть конические „ сахарные головы", китайская ваза на камине, ночной горшок под кроватью. На фотографиях — солидные бородатые и усатые господа, их меланхолические жены в креслах-качалках, иногда на кушетках или в саду, в гамаках, на втором плане верная, хоть и сварливая служанка Франсуаза, которую еще застал в живых племянник Пруста, водивший нас по своим владениям.

— Он был самым большим писателем той эпохи, — сказала седая дама из Вены. — Ничей другой дом я бы не поехала смотреть в такую холодную ночь. Он знал, что после его смерти люди будут приезжать сюда, в эти комнаты, взбираться по этой скрипучей лестнице...

Племянник Пруста вынул из книжного шкапа, где хранилось все написанное Прустом и о нем одну из книг своего дяди, которую я не знал: „Против Сент-Бева" и прочел из нее несколько строк. „Разум не заслуживает того, чтобы мы увенчали его царской короной. Однако единственный, кто может распределять короны, это он, разум. И он присудил самому себе вторую роль, а выше себя поставил инстинкт, который занимает теперь первое место".

— Самый великий писатель той эпохи? Если это верно, значит эпоха была не слишком замечательна, — сказал вполголоса, чтобы племянник Пруста не услышал, стоявший рядом со мной англичанин. — Дело не только в том, что он не предчувствовал надвигающегося потопа, который скоро всех поглотит. Он считал, что открыл прием для писания книг, который давно уже открыли романтики: что интуиция, подсознание должно стать на первое место, а сознательный разум — на второе. Но существует ли точная граница между сознанием и подсознанием? Все это очень приблизительно и условно и то, что секунду назад явилось как смутное предчувствие вдруг становится ясным афоризмом, облеченным в самые отчеканенные слова и в них, увы, застывает. Потому что дальше нет хода.

Но главное не в этом, не в методе для писателей, а в том, вложил ли он хоть немного счастья в меня, своего читателя, обыкновенного человека?

Очевидно, литература не имела бы смысла, если бы она не направляла нас к познанию скрытой реальности бытия.

Главный вопрос, самый вечный, самый загадочный для нашего трезвого рассудка — это что означает наше пребыва-

ние между двумя головокружительными катастрофами, между смертью и воскресением.

Узнаем ли мы себя в его двадцатитомной книге „В Поисках за Утраченным Временем“? Его герои так рассеянны, так невнимательны даже к самим себе... Каждое мгновение они создают и разрушают главное в самих себе. Смысл нашей жизни на здешней планете и нас, читателей, перестает интересовать. Если бы это нас по настоящеву заинтересовало, мы бы узнали, но впрочем, не из книг.

Мы не можем узнать самих себя иначе, как в отношении к миру и людям. Ничего не существует изолированно от окружающей среды. Но Пруст устроил для себя комнату, обитую пробковой корой, чтобы его не тревожили шумы улицы.

Нас позвали занимать места в автобусе. Наступила ночь, самая длинная ночь в году. Я знал, что мы сделаем привал в Шартре и рассчитывал, что там мой англичанин доскажет, почему он разочаровался в Прусте. Теперь он сидел рядом со мной. Он что-то говорил, но за шумом мотора и из-за моей глухоты трудно было расслышать.

Ночь была темная. Мы долго ехали по еловой аллее, напоминавшей мне Марьинский парк, который уцелел в революцию но, кажется, был уничтожен в 41 году, в сражениях под Москвой на Волоколамском шоссе.

Почудилось, будто за окном падают хлопья снега. Будто мы уже давно едем куда-то по забытым местам и что рядом течет река Шоша. И что мы дремлем в спальном вагоне, что поезд повернул в обратном направлении и мы помчались назад.

Еще померещилось, что я стою в Марьинской церкви и с благоговением повторяю за дьяконом „о благорастворении воздухов и о изобилии плодов земных“. И о временах мирных.

Вдруг мой сосед ясно произнес: — Наш военный век ужасен. Третья мировая война уже давно началась и мы все как автоматы, в ней участвуем.

— А что будет в двадцать первом веке? спросил я.

— По всей вероятности, четвертая мировая война. Вам это не нравится? Но жестокая правда добрее самых приятных обманов. Вы слышите как туристы вокруг нас хором твердят, что Пруст сух как пень (он понизил голос), что у него, как у всех французов черствое сердце... Это все равно что сказать, какие мы, англичане, добрые и какие остальные люди злые. В жестокой правде Пруста больше нелицемерного сочувствия к людям, чем в добряке Диккенсе.

Французы, начиная с Монтеня, поняли, что к старости человеку пора освободиться от всех иллюзий. Поэтому я люблю при

езжать в Париж и записываюсь, как сегодня, на экскурсию „Art et voyage". А Пруст,вопреки всем его промахам и шокирующим оригинальностям, остается в числе самых крупных классиков предпотопного периода. Он успел захватить и начало потопа: умер, как вы знаете, в 1922 году.

Неожиданно вокруг посветлело и автобус остановился на центральной площади Шартра. Здесь все оказалось занесено снегом и сияло от бесчисленных фонарей и освещенных окон ресторанов и гостиниц. Шартр показался нам, появившимся из темноты, каким-то солнечным городом будущих столетий, чудом избежавшим всех мировых войн или перенесенным на другую, невоинственную планету.

Нас провели в одну из главных гостиниц.

Посредине зала стояла серебряная елка, украшенная свечами, фонарями и разноцветными шарами. Мы уселись на креслах и диванах. Кроме нашей группы никого в зале не было.

Елка, свечи, детская атмосфера Пруста. В эту ночь мы все оказались захвачены „Поиском Времени". В тех книгах лучше всего передано детство. Автор никогда не стал совершеннолетним — не захотел, побоялся войти вглубь подлинной жизни. Что-то мешало ему по-настоящему созерцать своих героев и героинь, он лишь скользил по ним, на поверхности. В своих зимних и летних сновидениях он не разглядел реальности мира.

Это не помешало ему страдать, но как? Как дети, от непонятных обид, причиняемых ему взрослыми. Сущность „больших" и здоровых от него ускользала, сколько бы он в них ни всматривался. Он узнал ревность, ему казалось, что он знает любовь, но это была заинтересованная любовь к матери и бабушке, которые оберегали его младенчество.

Детство вовсе не рай, оно большей частью печально.

Японец, один из 50 стариков, сказал: — Творчество жизни вытекает не из знаний, не из анализа — и никакой литературный метод, даже самый остроумный, тут не пригоден. Творчество родится из любви. Жизнь, любовь и творчество — это синонимы. Но Пруста интересно читать, потому что он ощущал атмосферу, воздух.

Американка из Бостона сказала, что можно по-настоящему любить и природу, не только людей, но дар любви ко всему, что нас окружает, раскрывается, когда прекратилась привычка злословить над человеческой греховностью. Писателю следует избегать даже укоризны, это плохой тон, а открытое осуждение кого бы то ни было просто непристойно. Злоупотребление иронией уничтожает писателя. Но Пруст прибегал скорее к осторожному, не ранящему сердца совету, что помогает раскрыть тайну

жизни и смерти. В доказательство, она прочла наизусть стихотворение ее соотечественницы из Новой Англии, Эмили Дикинсон умершей в конце XIX века:

Я саду еще не сказала,
Чтоб не было споров ненужных
И смелости мне не хватило
Открыть мою тайну пчеле.

Не знает и площадь селенья,
Хоть зорко следят магазины,
О том, что глупа и труслива,
Сумею и я умереть.

Холмы, где я часто блуждала,
Про то ничего не узнали,
И в этот секрет не проникнет
Приятель мой преданный, лес.

И вам обсуждать не пристало,
Беседу ведя за обедом,
Что кто-то сейчас удалился
В загадку вечерних лучей.

— Все, что мы здесь говорим, очень замечательно, как и все, что было и будет сказано о „Поисках Утраченного Времени", — сказал англичанин. — Для меня нет большего удовольствия чем участвовать в литературных прениях: каждый остается при своем мнении и каждый прав, и все это мало что значит и никуда не приводит. В этом жизнеспособность искусства.

Японец сказал: — The ending of sorrow is the beginning of wisdom — (где кончается печаль, там начинается мудрость).

— Пока нас не повезли дальше, — сказал русский, — наполним наши стаканы этим чудным Сотерном — лучше этого вина не существует нигде, даже во Франции — и выпьем в память того, кто может быть, ошибался в деталях, зато хорошо знал, как терять Время, а не беречь его. Время — это как индивидуальная душа: кто захочет сохранить, тот потеряет, а кто не скупится, не боится расточить, тот приобретет.

Англичанин на этот раз одобрил, но с оговоркой: — Остроумно, хоть и можно поспорить. — сказал он русскому.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАМНИ

Лет десять назад, весной, когда я возвращался на костылях из Люксембургского сада, на площади Одеон вдруг потемнело и полил проливной дождь. Прохожие разбежались, кто в подворотню, кто в кафе, а я заковылял в американскую библиотеку, где стал читать сборник современных американских поэтов.

В голове зазвучали новые для меня ритмы, неожиданные, непривычные, не по нашему взволнованные, океанские. Скоро я забыл про этот случай, но сегодня ночью, погруженный в приятную старческую бессонницу, начал вспоминать те стихи с их не родственными для меня ладами.

Сейчас стараюсь кое-что записать — и прошу извинения у тех неизвестных мне поэтов: ведь, я невольно исказил и конечно испортил их стихи. Дело в том, что память к восьмидесяти годам ослабела, и в американском языке я никогда не был силен, а теперь почти забыл то, что когда-то знал.

Так что это отнюдь не переводы, не переложения, не подражания, а сплошная отсебятина или очень отдаленное впечатление от каких-то звучаний, смутная тень от чего-то, что может быть вообще не существует. Отзвук неизвестно чего, что взволновало во время того дождя.

Поющие Камни

Живые приходят гулять в этот сад,
Читают слова на могильных камнях,
Но мертвых давно не приносят сюда.
Здесь пенье идет от забытых камней:

„Живой познакомиться с нами пришел,
Читает, чтоб наши узнать имена
И годы. Он, верно, готовится к нам
И скоро на дрогах его привезут“.

Но это неправда, ведь здесь только сад,
Я знаю, что мертвых сюда не везут,

Ведь здесь только сад, где живые весной
Цветы собирают в высокой траве.

Я новую надпись на камне пишу:
„Отныне никто никогда не умрет!“
И камни чуть слышно пропели „аминь“!

Поэзия в Зверинце

(Это, кажется, написано женщиной)

Я ее тоже терпеть не могу! Что за вздор эти рифмы!
Впрочем, когда мы читаем стихи, пожимая плечами,
Можно порою открыть невзначай и какую-то правду.
Значит, и здесь что-то есть, критик и тот согласится.
Только не нужно, мой друг, шагать за черту пониманья —
Это бывает доходно: летучая мышь вверх ногами
Долго способна висеть и тем находить себе пищу.
Трудится мул, дикий конь оступился о камень,
Слон подошел, посмотрел сквозь решетку, а критик
Зол и взъерошен, как волк, будто блоха его дразнит.
Значит, к печати готовится сборник „Комар и Комета“.
Друг стихотворец! Довольный собою не сможет
Жизнь полюбить и прославить. Но пусть мотылек
без боязни
Носится, вьется, порхает вокруг притаившейся жабы.

Потери

Смерть ли это, я не знаю — все на свете умирают.
Навсегда ли — не известно: мы и прежде погибали.
Из-за нашей странной лени возрастал процент убитых.
Заблудясь в снегах на небе, мы в газетах умирали:
Тот, нырнув на плоскогорье, а другой, сражаясь с тучей
И, подобно насекомым, или птицам, или ракам
Погибали мы, однако, мы и раньше умирали, —
Например, когда я начал курс ускоренный пилотов.
В наших новых авионах, с нашим новым экипажем
Мы стреляли над горами, городами и над морем.
Мы стреляли по квадратам, нам считали попаданья.
А когда явилась смена, мы над Францией проснулись.
Есть различье в умираньях, но когда нас убивали,
Это не был темный случай, но скорей была ошибка.
Каждый может промахнуться. Нам писали, мы молчали,
Счет вели часам полета.
С авионов, что носили имена каких-то женщин,
Город мы порой сжигали, о каком учили в школе.

Как-то странно мы кончались: посреди врагов ложились,
Тех, которых мы убили.
Про умерших сообщалось: „Были легкие потери“.
Для живых другая песня: „Вот приказ“, и мы стреляли.
В ночь, когда меня убили, — мне приснилось, что я умер —
Дрезден с Гамбургом дивились: „Как же так?
Он тоже с нами?
Так и надо, будем вместе“.
Что ответить, я не знаю.

Мексиканский Квартал

В переулке разбитые лачуги,
Фонари пошатнулись, склонились
И глядят в пересохшие канавы.
Там собаки скребутся о стены,
А ребята смуглы, как черти,
А их матери курят папиросы.
Там проходят угрюмые мужчины
Вдоль ограды кактусов колючих.
Пахнет кошками, падалью, потом
И гнилыми плодами тамариска.

Под окном на скамейке девица
В волосах ее черная наколка.
Она смотрит, как вспыхивают звезды,
Загораясь на бархатном небе.
Она новую складывает песню:
„Звезды, звезды, я схвачу вас в охапку,
Отнесу вас в темную церковь,
Положу на цветы из бумаги,
Помолюсь, чтоб Жуан ко мне вернулся.
Я слова ядовитые забуду,
Ударять его веером не стану.
Я четыре звезды себе оставлю,
Две для туфель, две для ожерелья.

Негр говорит про реки

Знакомы реки мне.
Я знаю реки старые как мир, древнее крови в жилах человека.
Моя душа, как реки, глубока.
Купался я в Евфрате на заре,
Поставил хижину на берегу болота, и та вода мой охраняла сон.
Я помню Нил, я строил пирамиды,
Я слышал пенье Миссисипи,

Когда Линкольн плыл в Новый Орлеан, и гладь воды
пылала в час заката.
Я реки знал. Они темны и древни.
Моя душа, как реки, глубока.

Наследство

Что ты мне, африканская полночь,
Солнце медное, алое море
И звезда, и тропа через поляну,
Гордая походка негритянок,
Что рожали нас в лесных трущобах

Среди райского птичьего пенья?
Ведь меня уж три века отделили
От тебя, сторона моих дедов,
От тенистых лавровых деревьев.
Твой ли я, африканская полночь?

Целый день и всю ночь до рассвета
Ничего я другого не знаю,
Как смирять мою кровь и надменность,
Чтобы искра не спалила трущобу,
Чтобы ученье не растаяло как льдина,

Чтоб отцы не призвали к ответу.
Потому что мое сердце не знает
Правда ль это, что я цивилизован,
Скучен, зол, угрюм, озабочен,
Муравей, заколдованный работой.

Негр говорит о Пушкине

Абиссинскую пустыню
На полярный русский свет
Променял, но жив доныне
Древней Африки завет.

Мчится конь средь ночи снежной,
Но вскипает в сердце вновь
Отзвук южный, отзвук нежный —
Слава, вольность и любовь.

КАРТЫ ТАРО

Я живу в „Русском Доме“ для престарелых эмигрантов, под Парижем. У меня отдельная комната. Кормят хорошо и мы получаем пол-литра вина в сутки.

Иногда я гуляю с палкой по аллеям нашего парка. За оградой расстилается ровное поле, совсем как степь вокруг „Отрадного“. Дальше видна белая церковь с синим куполом, темные елки и березовая роща. Это наше кладбище, но могил из парка не видно.

По вечерам я не скучаю. Должен откровенно сознаться, что иногда я гадаю на картах. Не на обычных, игральных, на которых другие обитатели нашего дома раскладывают свои старческие пасьянсы, а на картах Таро, причем только на козырных. Их всего двадцать две, это arcane majeur.

Я плохо слышу и мне трудно говорить с людьми, поэтому я вызываю из прошлого и из других миров тех, кого хочу видеть (иногда они сами приходят) и веду с ними интересные беседы. Часто все начинается с детских воспоминаний.

Вот перетасовал колоду и первой выпадает карта № 4, „Император“. Дальше появляется № 9, „Отшельник“, потом № 10, „Колесо Фортуны“, остальные не имеют значения, я уже вижу всю картину.

1904 г., 8-го мая, накануне моих именин, в Рязани с утра выпал снег.

Это не устраивало меня и мою сестру. Накануне нам было обещано, что если погода не испортится, нас возьмут на царский смотр войскам: пехотная дивизия отправлялась из Рязани на войну с Японией.

Няня подняла шторы и решительно заявила: — Никаких вам парадов не будет, не ждите и не надейтесь. Однако мы все же надеялись, впрочем на этот раз не на мать, а на отца: вчера мы подслушали, как он настаивал, чтобы нас взяли на парад.

Когда мы спустились в столовую, мама (ударенье на последнем слоге, вопреки правилам русского языка) сидела чем-то не-

довольная, а папа (то же насилье над языком) был особенно оживлен:

— Ну что, готовы? Сейчас подадут карету.

Вороные лошади шли крупной рысью. Пара в дышле, английская упряжь. Кучер Семен и лакей Антон восседают на козлах, оба в блестящих цилиндрах. Хлыст — саженное кнутище из Лондона — возвышается в специальном гнезде справа от Семена. Колеса разбрызгивают воду в лужах.

Мы пронеслись через тот загородный квартал, где через 60 лет будет жить Солженицын. Когда выехали в поле, выглянуло солнце.

Отец объяснил, что так всегда происходит перед царским смотром.

Вот мы сидим на каких-то длинных скамейках, около нас знакомые дамы и их дети, впереди огромное поле. Четыре полка — шестнадцать тысяч человек уже вытянулись в ровные линии, образовав квадрат.

Посредине каре появляются офицеры на гнедых лошадях.

— Который государь? — спрашиваю я.

— Вон тот, перед генералом Закржевским, — отвечает мать.

Царь по виду ничем не отличается от других офицеров, но я уже был об этом предупрежден.

Играет музыка и вокруг нас все орут, даже дамы кричат пронзительными голосами. Точно ведьмы, и однако стараются, чтобы на них обратили внимание те всадники из центра. Мама молчит, слегка улыбается в пространство, мы с сестрой тоже молчим.

Но уже откуда-то подбегает отец и сразу ко мне: — Как? Ты молчишь? Почему не кричишь со всеми: ура, ура, ура — и при этом он поднимает руки, как архиерей на торжественном богослужении, стараясь загипнотизировать, заразить меня своим одушевлением. — Я не знал, что надо кричать, — шепчу я и смотрю вопросительно на мама (это слово не склоняется, вопреки — смотри выше), которая снисходительно пожимает плечами. Отец хмурится и быстро отходит к губернатору Брянчанинову и другим сановникам в парадных мундирах.

Мисс Гринвуд потом будет комментировать в детской эту сцену:

— Ничего более „шокинг" не приходилось видеть! Чтобы леди и джентльмены позволили себе жестикулировать руками и орать как бесноватые на глазах у всего города!

Мне тогда было 8 лет и с того дня началось мое политическое образование — трудная, запутанная наука, сотканная из противоречий. Няня была против войны: еще хорошо, если только ранят парней, а то всех перебьют, как волчат.

Отец не сомневался в победе и только удивлялся чего Куропаткин медлит дать решающее сражение. Мать намекала на какие-то таинственные причины, которые задерживают благополучный исход войны.

В следующие зимы она начала рассказывать нам о своем деде декабристе и читать (наизусть!) Некрасова: „Проказники внуки, сегодня они с прогулки опять возвратились"...

Это Елизавете и мне так понравилось, что мы стали переписывать „Русских Женщин" в наши тетради чтобы всегда иметь их под рукой — и с тех пор запомнили на всю жизнь всю Марию Волконскую, до последней строки: „Увидимся, Маша, в остроге".

За обедами мы начали прислушиваться к политическим спорам родителей — мы называли это „разговоры о декабристах", хотя речь обычно шла о моей будущей карьере. Отец угрожал отдать меня в военное училище, „если так будет продолжаться", но я знал что мама не допустит. Ей хотелось видеть меня думским депутатом, говорящим с трибуны либеральные речи, на которые обратит внимание вся Европа.

Мы с сестрой переглядывались за столом и запоминали наиболее острые реплики. Относительно декабризма каждая из спорящих сторон была отчасти права. Отец настаивал на том, что офицеры не имели права обманывать солдат, из которых многие погибли к вечеру того дня, а другие оказались сосланными на Кавказ или еще куда-то. Мать напирала на то, что „ничего бы не произошло" (т. е. революции), если бы в 19 веке правительство догадалось даровать европейские свободы и конституцию.

Но это уже было в эпоху Керенского, когда мы стремительно катились на дно.

Тут я смешал карты и стал раскладывать по-новому. Первой выпала „Сила" — карта № 11: слабая женщина раскрывает голыми руками пасть льву, заставляя его рассказывать всякие истории. Затем тревожная карта „Луна", это Маргарита из романа Булгакова „Мастер и Маргарита". Затем еще две женских карты, очень благополучные, в которых я сразу узнал двух чудных женщин из „Ракового Корпуса" Солженицына Веру-Вегу и Донцову (№ 17 — „Звезда" и 21 — „Вселенная").

Лето 1916 г. было последним проведенным в Отрадном. Сразу за огородами начиналась степная равнина. Ветер заносил в комнату степные ароматы трав и запах дыма, это сжигали сухие листья на огородах. Небо уже по-осеннему глубоко и прозрачно и все населено облаками. По утрам бывало туманно, но к полудню прояснялось.

Там где кончались сосны парка и начиналась степь склоняли головы тяжелые подсолнухи. Сладко пахло табаком и позд-

ними настурциями. Дальше светилась золотая солома, убранная в правильные и высокие как дома скирды. На горизонте виднелась церковь с синим куполом, я ее где-то совсем недавно видел, не знаю — во сне или наяву.

Как все прекрасно вместе, это не надо разделять на отдельные картины. В степном мареве сливались прошлые и грядущие столетия. „Прошлое страстно глядится в грядущее“ — это кажется из Блока.

Маргарита и Вега интересуются узнать, пишу ли я стихи — как раз об этом меня недавно спросила пожилая женщина из нашего „Русского Дома“. У меня почти нет стихов, я их давно не пишу, увы.

Чем это объяснить? Бывают часто состояния, когда я чувствую себя раскачивающимся где-то на волне поэзии, все как-то особенно звучит и колеблется, вокруг какая-то особенная взволнованность и неясность, но стихов все-таки нет. Чего же мне не достает? Я думаю, музыки. Видишь ли, Вега, это болезнь нашего времени, все мы мало музыкальны, не только здесь в Париже, но и у вас, чуть огненны и сухие. Или ледяные. Нет той теплой воды, от погружения в которую рождаются стихи.

Сейчас в нашей эмиграции появилось множество поэтов и поэтесс и это хорошо, конечно при условии если в их стихах содержится хоть самая малость поэзии. Даже когда мы пишем плохие стихи, это все-таки присутствие какой-то еще не совсем умершей нашей души.

Некоторые из нас случайно открыли в китайской классической поэзии нечто созвучное нашему душевному строю и дают варьяции (не переводы, ведь китайского языка никто почти не знает), пользуясь переводами на европейские языки. Такой перевод с перевода нельзя даже подражанием назвать, это скорей догадка, никак не претендующая на точность.

Платан

Покорный ожогам мороза
  Задерживал долго цветенье,
Не мог ты насытиться снами,
  Берёг ты себя от страданий.
В весеннем саду оголенный
  Твой остов стоял сред деревьев
Закрытый убором цветенья
  Вновь пышно цветущего сада.
От всех в стороне, сиротою
  Ты грезил зимою, снегами —

Как в горькой обиде ребенок
  Весеннего зова не слышал.
А я, заколдованный снами,
  На каменный стол опираясь
В саду, осененном весною,
  Пытаю у древних поэтов:
Признали бы дерево плодным
  Они — по мерцающим почкам
По еле пробившимся листьям
  На ветках иссиня-холодных?

— Что вы скажете об этом „Платане“, написанном, кстати, за сто лет до нашествия Чингизхана?

Вега сказала: — Пусть Маргарита решит, ведь это она сохранила книгу Мастера. Маргарита сказала:

— Древние поэты обладали логикой, ясновидением и интуицией. Эти душевные силы они не сознавали, не давали им названия. Поэтому их облик кажется таким величественным — каким он и был — хотя не сохранилось портретов ни библейских пророков, ни Плотина, ни Шекспира.

— А твои Таро, — сказала Вега, — учат в одном мгновении, безразлично в каком, охватить и увидеть всю свою жизнь и также все чужие жизни. Но о вечном возрождении жизни учат не карты, а любовь. Или карты учат, а любовь дает доказательство.

— И вот еще, — прибавила в заключение Донцова, — если ты почему-нибудь сам не можешь приблизиться к миру любви, знай хотя бы, что ты не можешь и удалиться от него. Это значит, что ты всегда существуешь в этом мире, хотя не всегда это видишь.

ПРЕДСКАЗАНИЯ АРХИМАНДРИТА СПИРИДОНА

„В начале 1917 г. издававшийся в Киеве ежемесячник „Христианская Мысль“ начал печатать серию очерков под заглавием „Воспоминания Сибирского Миссионера“. В октябре того же года журнал закрылся, и воспоминания не пошли дальше 1906 г. Я приступил к переводу этих драгоценных воспоминаний, но лишь теперь решаюсь опубликовать их“ (в издательстве Le Cerf, 1950 г.)

Так пишет в предисловии к своему переводу проф. Пьер Паскаль. Из предисловия мы узнаем, что о. Спиридон, в миру Георгий, родился в 1875 г. в крестьянской семье в деревне Воронежской губернии, в районе Задонска. Был рукоположен в иеромонахи в последние годы прошлого столетия в Сибири. Умер в Киеве вскоре после Октябрьской революции.

„Мне было около пяти лет, рассказывает Арх. Спиридон, когда я начал удаляться от моих товарищей по играм. Я стал укрываться в леса и предавался таким размышлениям: существует ли Бог? Есть ли у Него жена, дети? Что Он ест и пьет? Кто Его родители? Почему Он Бог, а не я? И почему я могу ходить, говорить, есть, пить, а деревья и цветы не могут?.. И еще, почему существует солнце, ночь и звезды?“

Тогда же он начал молиться, не в церквах, куда мать его водила, и не теми молитвами, какие он уже знал, а своими молитвами, в лесу или в поле.

В ту же эпоху он „убежал в Иерусалим“ („держись направления, где заходит солнце“, указала ему одна женщина), но на следующее утро отец нашел его за лесом и больно высек плетью.

Потом началась школа. Он учился плохо, но мог читать Св. Писания и Жития Святых.

Рано начались его паломничества по монастырям, а в четырнадцать лет он дошел с другими странниками до Киева. Он слышал, что в России чистота веры померкла из-за водки, которой не гнушался и отец отрока Георгия, но что неоскверненная вера сохранилась у греков и особенно на Афоне. И Георгий по-

шел к Черному морю, на этот раз один, „без спутников, без „бумаг“ и с одним рублем в кармане“. По пути между Киевом и Одессой он избегал селений, спал под кустом, почти не питался, однако не ощущал голода. В Одессе кто-то направил его к градоначальнику Зеленому, который выслушал его внимательно, вызвал по телефону настоятеля Пантелеймонского подворья — и вот Георгий плывет на пароходе в Константинополь и оттуда на Афон. Во время этого плавания он почувствовал, что любовь Бога к человеку сознается им по степени любви и доверия, какую его собственное сердце испытывает к Богу. И те события его жизни, какие другим представлялись чудесными, ему казались вполне естественными.

Но на Афоне он не нашел великих святых. Приняли его хорошо, игумен обители Апостола Андрея ему покровительствовал и даже навестил, когда Георгий заболел, но русские монахи между собой жили не дружно: для малоросса великоросс был сатана и наоборот, но еще большим соблазном было их сребролюбие. Были среди них отрешенные от жизни аскеты, но и у них не замечалось дружелюбия, скорей безразличие.

Несколько лет спустя его отправили на родину. Родители обрадовались его приходу, они думали что он пропал навсегда.

Около своей деревни он встретил прозорливого старца Максима, который, увидев его, предсказал, что он будет новым Стефаном Пермским, просветителем иноверных. Потом он открыл ему тайну о темной ночи, куда стремительно погружается Церковь и Россия, и об ужасе великих страданий, ожидающих русский народ.

Россия уже почти забыла Бога и Евангелие и не далек тот час, когда новые начальники запретят веру, как было в Риме в начале христианства. Максим говорил народу не вполне вразумительные пророчества. Однако, Георгий понимал, что вскоре должна разразиться небывалая война, весь мир начнет гореть в огне. Война — это суд Божий, но еще не последний, не тот Страшный Суд, предсказанный в Евангелии. Сперва будет преддверие, суд не над всеми, а над христианами, которые попрали ногами полученное ими сокровище. После войны станет еще труднее, но Максим не дерзал всего сказать.

Для двадцатилетнего Георгия казались непонятными слова Максима, что в наши дни, для того, чтобы жить по Евангелию, надо для видимости потерять рассудок. В наши дни, пока люди будут разумными и спокойными, Царство Божие не опустится на землю. Сейчас Россия больна и сама Церковь тоже.

Как же так — размышляет Георгий. Русская земля вся покрыта храмами, монастырями, даже в лесах встречаешь часовню над источником воды. Куда же укрылись святые, на земле

Российской просиявшие? И, как недавно на Афоне, в душу закрадывается сомнение. Луга, леса и звезды уже не столь прекрасны, как это казалось пятилетнему младенцу, и в самой природе, „по причине умножения беззакония, охладела любовь" (Матф. XXIV, 12).

Георгий встречал на своем пути праведников, но они были, как и на Афоне, больше среди отшельников-созерцателей. Духовное трезвение молодого Георгия, его православная природа, все это уводило его от сладостных снов отрешенности, возвращало к страдающей земле.

„Дядя Максим, я бы хотел весь превратиться в любовь ко Христу, говорит Георгий. Что нужно сделать, чтобы забыть себя до конца?"

— Без молитвы нельзя любить Иисуса Христа, ни Его людей. Молись всегда, в лесу, за плугом, на дне оврага. Не прекращай молитвы, но пусть никто этого не видит... После праздника Воскресения вся земля превращается в престол Спасителя. Когда говорят „Христос Воскресе", я становлюсь будто пьяный от радости... и вижу что Он живет среди нас со Своими братьями и учениками. А ты теперь иди в столицу, к митрополиту, он тебя определит куда надо, а постоянная молитва подскажет, как надо любить Господа.

И Георгий идет в Петербург, проникает к Митрополиту Палладию, который, поговорив с ним, направляет его миссионером в Сибирь к Владыке Макарию. Все вышло так, как предсказал Максим.

Незадолго до принятия им священства и монашества (после чего он стал Иеромонах Спиридон) ему пришлось пережить тяжелое душевное испытание, настолько страшное, что он покушался на самоубийство. Но к счастью, яд не подействовал. В те дни он видел во сне Льва Толстого, с которым много говорил об Евангелии. А еще раньше он чуть не женился на „девице, прекрасной как Ангел", но Бог судил иначе — она внезапно умерла от воспаления легких.

В качестве миссионера он излагал бурятам основы православия, потом, как иерей, совершал над желающими таинство крещения. Но вскоре перестал сам крестить бурят и диких звероловов Оречен, обнаружив что некоторые из корысти принимают христинство. Один, на предложение креститься, сказал: — Зачем? Я лошадей не крал — что означало, что к новообращенным русский суд оказывался более снисходителен. Оречены не знают даже скотоводства, живут одной охотой.

С бурятами-буддистами оказалось интереснее и сложнее. В одном из их монастырей „шеретуй" встретил о. Спиридона

очень приветливо, собрал свою братию и предложил послушать русского священника. О. Спиридон рассказал о сотворении мира и более подробно о Спасителе, особенно о Нагорной Проповеди (Матф. гл. 5). Наступило продолжительное молчание, после чего старший лама встал, глубоко поклонился Архимандриту и сказал так:

„Господин миссионер, вы изложили нам основы христианской веры и мы с большим сочувствием слушали каждое ваше слово. Теперь мы просим выслушать нас, темных язычников. Да, христианская вера самая высокая и универсальная на земле и если на других планетах живут разумные существа, они не могли бы найти ничего лучшего. Ваша религия чиста, как слеза, как хрусталь, как мысль Бога. Мы тоже считаем, что Логос, как сказано в Евангелии от Иоанна, стал плотию и Богочеловеком, Который хочет, чтобы все жили на земле, как жил Он Сам.

Но посудите сами, господин миссионер, христианский мир живет ли он по завету Христа? Христос учил о любви к Богу и ближнему, смирению, прощению обид. Не только не убивать, но и не гневаться, хранить чистоту брака...

Мы вас ждали и радовались, когда сюда проводили железную дорогу. Мы хотели, чтобы русские скорее пришли и просветили нас, темных варваров, светом своей истины. И что же мы увидели? Водку, насилие над нами и над нашими женщинами, драки, грабежи, убийства, новые болезни. До вас мы не знали замков на дверях, ни, тем более, смертоубийств.

Значит, вы не христиане, или не верите, чему учите. Ведь пример более сильное средство, чем проповедь. Зачем бы мы оставались во мраке, если бы около нас взошло новое солнце правды? Объясните нам, как это вышло, что лучшая из религий не научила вас различать добро от зла? Ваши миссионеры не любят Христа, они любят деньги, они курят, пьют и от них приходится прятать наших девушек...

Нет, господин миссионер, пусть сперва христиане поверят в Спасителя, как верите лично вы, тогда мы примем их как Ангелов и соединимся с ними в вере.

В другом селении о. Спиридон услышал от ученого буддиста, прошедшего московский университет, такое высказывание: — Не будем ломать голову, почему большие гении человечества были пантеистами: в древнем мире — греческие философы, в новом — немецкие. Я думаю, что Христос и Будда — родные братья и что Христос более лучезарен и Его учение более всеобъемлюще. Если бы все люди стали буддистами, они погру-

зились бы в мирный сон. Но если бы все стали настоящими христианами, никто бы вообще больше не спал, все бы всегда бодрствовали и несказанная радость превратила бы землю в небо.

О. Спиридон был поражен глубиной и деликатностью многих из тех, кого он просвещал. Они заранее знали, что он им скажет, некоторые утверждали превосходство христианской веры. Иным казалось, что по христианству легче умереть, чем бороться с соблазнами жизни.

„Они уже христиане по Божественному произволению и не нам их учить“. И скоро Архимандрит оставил свою деятельность миссионера и перешел к другому — просвещать Христовым светом своих соотечественников и единоверцев, осужденных на сибирскую каторгу. Этому посвящена последняя часть его воспоминаний.

ВОЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Полк, куда я попал, был кавалерийский, но зимой 1917 года мы несли службу в окопах, вместе с пехотой.

Вскоре после того, как я появился на фронте, полковник Панов вызвал меня к себе, предложил сесть и сперва долго смотрел мне в глаза. Наконец, он спросил:

— Что ты вчера рассказывал Оболенскому и Миллеру?

— Могу повторить, я не скрываю своих убеждений. Говорил, что не вижу никакой пользы в войне. Еще сказал, что дослужу до конца войны, а дальше на военной службе не останусь и буду всячески бороться против новой войны. На самом деле, что это за безобразие? Засядут в окопах и стараются подстрелить как можно больше немцев, пока они нас самих не успели угробить!

— Значит по-твоему армия не нужна и ее следует упразднить?

— Да, и чем скорее, тем лучше.

— А государство? Ведь оно без армии не сможет держаться, это тебе понятно?

— И государство тоже не нужно.

— Так. Я вижу, ты много читал Льва Толстого и сам стал анархистом.

Он был не строг, мне показалось, что он улыбается глазами. Я промолчал.

— Понятно, сказал Панов. (С этого дня я понял, что он человек умный и не злой и привязался к нему на всю жизнь). Понятно, хоть я себе не представляю, как Толстой и ты представляете себе анархию. Я же был в Китае и видел как это происходит. Всюду бродят вооруженные банды, возглавляемые бывшим унтером, иногда молодым генералом. Все очень бравая компания. Врываются в города, жгут и все прочее... Кстати, ты ведь кажется жениться собираешься? Так вот, предположим что ты уже обзавелся семьей и в одно прекрасное утро выходишь из дома купить молока, хлеба и папирос. Вокруг шум и крики,

по улицам носятся какие-то всадники, лавки все закрыты или разгромлены. Ты возвращаешься домой и никого из своих не находишь. Спрашиваешь соседей, где твоя жена, куда девались дети. Оказывается, детей перестреляли, а жену увезли куда-то. Так вот, государство и армия нужны для того, чтобы этого не случилось у нас.

Я долго молчал, курил с глупым видом и смотрел вниз. Что можно было возразить? Что китайцы это одно, а русский народ не такой? А почем я знаю? Среди солдат тогда уже начиналось ощущаться какое-то неблагополучие. Полковник сказал:

— Теперь иди и подумай обо всем этом. И не пугай молодых (мне было немного больше двадцати, а Панову меньше тридцати лет). Не забывай, что офицер не болтает и должен отвечать за свои слова. Этот разговор останется между нами. Если те захотят возобновить вашу вчерашнюю болтовню, скажешь что ты видел во сне Китай и переменил свои взгляды.

Так началась моя дружба с Пановым. Впоследствии я долго служил под его начальством и когда сражения кончились, мы уехали на одном пароходе „Русь".

Мы до сих пор встречаемся и говорим о жизни, о войне, о революции. Он не считает что наша жизнь не удалась.

— Конечно, говорит он, наше военное поколение не успело из-за событий научиться университетской премудрости, а все же мы больше поняли о самом главном, чем люди прошлого века. Те были начитанны и умели размышлять, может быть, лучше нашего, но они ждали наступления золотого века, лет через триста или через тысячу, когда наступят тишь и гладь и никаких войн больше не будет. Но мы, военные люди, все фаталисты и знаем, что такое положение никогда не наступит. Говорил ли я тебе что мне рассказал Кирилл Нарышкин? Это относится к отречению Государя, что является самым значительным, переломным событием нашей жизни.

Генерал Нарышкин, Кирилл Анатолиевич, рассказал, что когда все было кончено и та ужасная бумага подписана, Государь подошел к окну вагона и предложил папиросу Гучкову. Тот сказал: „Ах, Ваше Величество, почему вы заранее не дали того, что все просили, ведь то был такой пустяк — ответственное министерство, и это разогнало бы грозу"...

— Вы действительно считаете, что это могло бы что-нибудь предотвратить? — задумчиво спросил Государь. Он сказал это негромко и как бы сам сомневаясь, как взрослый, говоря с ребенком, старается не обидеть, зная что дети говорят глупости и легко обижаются.

Но тогда, продолжал Панов, многие думали как Гучков. Кто знал тогда, что фатализм у Государя был столь глубок?

Даже среди нас, военных? Теперь я вижу две вещи: во-первых, фатализм не есть вера в некий фатум, в судьбу, а вера в Бога. Во-вторых — ни предотвратить, ни остановить ничего и ни при каких обстоятельствах никто не может. Допустим, что заблаговременно дали бы настоящую конституцию в 15-м или в 16-м году. Отречения сразу не произошло бы, возглавил бы ответственное министерство тот же князь Львов. Но надолго ли? Он продержался бы месяца два. Потом его место занял бы более левый, вероятно тот же Керенский, а вскоре явились бы наши теперешние правители. Так что даже сроки вышли бы те же. Помнишь, как Петр Верховенский в „Бесах" пугает писателя Карамазинова-Тургенева: все начнется на масленую, т. е. в феврале, а закончится к Покрову — в октябре. А в другом месте, кажется в „Дневнике Писателя", Достоевский успокаивает своих современников: „Это не сразу случится, а примерно лет через 50. И все вышло как по расписанию.

Но вернемся к так называемому „фатализму". Сейчас Россия мчится на всех парах куда ей положено, и чем все обернется — никто не знает, ни мы, ни Ленин и ни кадеты-полусоциалистических оттенков. Мы только знаем, что выйдет не так, как мы предполагаем. В конце этого столетия может быть начнет выясняться, что означают эти события, участниками коих мы являемся. Не один Царь твердо верил в Бога, все военные таковы, даже если они „атеисты".

В другой раз полковник говорил о неизбежности новых войн.

— На войне, в окопах все мы были как машины, не умнее наших пулеметов. Особенность машины в том, что она дисциплинирована, не думает, только исполняет то, что ей приказано. У Чехова такие не только военные, но и чиновники, духовенство, все вплоть до либеральных профессоров. Лучше Чехова этого никто не показал. Машина может быть иногда доброй, но главное в ней — ее дисциплинированность.

— Добрая машина? Это мне не понятно, говорю я, прошу пояснить.

— Трактор машина добрая, а танк и пушка злая, граммофон — судя по тому, чем его начинили. Но будем говорить серьезно.

Война не может быть прекращена. В ней никто не виноват. Она — результат космических столкновений, о чем знал Гомер и даже Толстой, пока читал „Иллиаду" и писал „Войну и Мир". Все Лиги Наций и теории о вечном мире — глупость и лицемерие.

— Допустим, сказал я, но если объединятся все, кто не хочет войны, а ведь их не мало.

Тогда на них пойдут те, кто любит воевать, таких тоже не мало. Кроме того, сторонники мира могут разделиться между собой, потому что не у всех одинаковые методы.

Вообще люди, если желаешь знать, не хотят ни войны, ни мира, или же они желают одновременно и преступления, и наказания. Достоевский все это хорошо объяснил, ведь он ни о чем другом не думал, как о нашей разделенной, запутанной душе. Из глубины такой души иногда рождается евангельский свет, в мире появлялись святые, они и сейчас имеются, но их пока не много.

Каждый из нас встречал такого, хотя бы только один раз в жизни.

ПЕРЕД ПОТОПОМ

Это было незадолго перед первой мировой войной. Мы тогда жили в Ярославле. Под моими окнами проходила пустынная набережная, за ней спускался к Волге крутой обрыв. Здесь ширина Волги была в полкилометра. По ту сторону реки, на низком левом берегу темнел лес, куда зимой по воскресеньям я уходил на лыжах.

Этот лес простирался с перерывами очень далеко, чуть ли не до Белого Моря. Перед тем, как войти в лес, я оборачивался и смотрел на город с невысокими белыми домами и со многими церквами среди деревьев. Потом начинались лесные сугробы, осины, березы и ели окружали меня со всех сторон. Я погружался в сон наяву и видел себя в заколдованном спящем царстве.

Деревень на пути не встречалось, но если сразу повернуть налево, тогда через час появлялась кедровая роща и над ней, как воздушные шары, поднимались синие и зеленые купола Толгского монастыря. Там до сих пор сохранились фрески с изображениями царя Федора Алексеевича (единокровного брата Петра Великого), посетившего со своей многочисленной свитой этот монастырь в 1683 году. В сумерках я возвращался домой.

Предпотопная Россия была больна, это ощущалось многими и, как я теперь понимаю, люди тогда стремились не только к свободе, сколько к равенству. Странное неравенство раздробило и богатых, и бедных, в городах и деревнях, на бесчисленные касты, как в Индии. Для Индии это показано недавно Светланой Аллилуевой. Зимой 1966 г. она попала в помещичий дом к родственникам своего покойного мужа и только тогда обнаружила, что ее муж происходил из знатной семьи браминов: „В Каланкаре жизнь была не простой, — рассказывает Светлана. — Я уже знала, что здесь остро столкнулись и вели между собой многолетнее соперничество две семьи, два уклада жизни... Самые знатные жили в красивом доме с большой библиотекой. Там было холодно. Легкий налет европеизма и американские

журналы уживались с глубоким врожденным чувством собственного превосходства — чувством высшей касты. Это аристократическое отчуждение ощущал каждый, входивший в дом... Вековые традиции тут были все еще сильнее закона... Махарани и махараджи сразу давали почувствовать мне и Прити, во время одного из визитов, что мы низшая каста. Красивая, веселая Прити сникла и затихла при них, она знала эту разницу. Мне было не по себе. Я впервые в жизни ударилась о невидимую преграду, воздвигаемую аристократами между собой и прочими. Махарани и махараджи продолжали разговаривать в нашем присутствии так, как будто в комнате была только мебель. Это было не грубо — просто вас здесь нет. Шесть дочек иногда задавали мне вопрос для приличия — так, как погладили бы собаку..." (Аллилуева, „Только Один Год", глава „Берег Ганга").

В Ярославле, в Петербурге, в деревне все было совершенно то же самое. Может быть, как раз поэтому я и моя старшая сестра (мы учились тогда в гимназиях) предугадывали, что очень скоро все вокруг развалится, падет прахом. Старшие как будто ничего не замечали — ни губернатор Ярославля (наш отец), ни князь Куракин, предводитель дворянства, ни те богатые купцы, которых у нас иногда принимали, ни даже полицмейстер. Им, наоборот, казалось, что Россия на всех парах демократизируется и превращается в Америку.

Однако, гимназистка Галя Пшеницына как-то раз спросила меня, к какой из социалистических фракций я ближе всего по моим убеждениям. Я ответил, что еще не выбрал, она посмотрела иронически-недоверчиво, должно быть догадалась, что я соврал, на самом же деле понятия не имею, какие это фракции и много ли их.

Вокруг нас считалось, что говорить неправду стыдно, и порядочные люди этого не делают, однако, за обедами мы с сестрой замечали, что наши гости часто привирают, то ли из застенчивости, или ради каких-то выгод, не всегда понятных расчетов. Многие из этих гостей — Штюрмер, приезжавший из Петербурга, сын вице-губератора Николай Кисловской, военные, главным образом, молодые офицеры, уже были обречены, как и наш отец, и не пройдет и шести лет как они погибнут в огнях войны и революции. Погибнет также и теософская дама, госпожа Бравакис, которая рассчитывала, что после смерти ее душа возродится в новом теле на нашей печальной, но все же приятной земле, тогда как ее старая мать надеялась, по церковному, после смерти просто попасть в рай.

Так что в ярославском монде не ждали революции, в столицах тоже спали спокойно. Но главные поэты — Блок в Петербурге и Белый в Москве, довольно ясно выражали в стихах кос-

мическую тревогу перед тем, что надвигается нечто страшное. Но этих поэтов солидные господа и их жены не читали — по вечерам они играли в карты. Однако, во всех церквах Империи диаконы возносили на ектенье моления об избавлении нас „от глада, губительства, труса (землетрясения), потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани".

Благодаря матери, Церковь занимала важное место в жизни нашей семьи. Мы по-серьезному говели, постились и бывали недовольны, когда за шестопсалмием чтец ради скорости пропускал два или три псалма.

Помимо своего прямого назначения, ярославские церкви являлись школами пения, а также музеями архитектуры и старинной живописи. Знаток икон, Игорь Грабарь, говорил у нас, что в Ярославле иконы и фрески были на уровне Сиены.

Из столицы в наш город приезжал Муратов, автор книги „Образы Италии". Мать, тетки и мы с сестрой зачитывались тремя томами этой книги, я и теперь иногда беру ее в Тургеневской библиотеке.

Приехали также столичные художники, Константин Коровин и Головин. Я повел их посмотреть храм Ильи Пророка. Теософская дама тоже пошла с нами.

Этот храм выстроен в середине семнадцатого века по заказу скупщиков пушнины Аникея и Нифантея Скрипиных. Главным богатством этого храма-музея являлись стенописи (фрески), созданные артелью из пятнадцати мастеров под руководством костромских изографов Гурия Никитина и Силы Савина. Заказчицей этих росписей была Улита Макарова, вдова Нифантея Скрипина.

Непрерывной лентой вьется повествование о чудесах пророков Ильи и Елисея: воскресение мертвых, исцеление больных, помощь бедным. Я бы не вспомнил обо всем этом так подробно, если бы мне не попалась в Париже книга З. Добровольской „Ярославль", издательство „Искусство", Москва 1968.

Центром одной из композиций является рождение, болезнь и смерть сына вдовы из Сарепты, и как пророк Илья его воскресил. Изображена жатва и уборка хлеба на холмах (в упомянутой книге имеется 124 отличных репродукций). Справа в верхнем углу — готическая комната с умирающим подростком. Мать склонилась над ним. Дальше пророк Илья берет тело умершего, уносит из дома в свою горницу и, воскресив, возвращает матери. (Третья Книга Царств, гл. 17).

В заключение показано как Илия взят на небо: „Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные и понесся Илия в вихре на небо". (Четвертая Книга Царств, гл. 2).

Мы четверо внимательно рассматривали фрески, гости впервые видели их.

Константин Коровин заметил, что в серии „Сын вдовы“ ясно выражена разница между отроком умершим и спящим до и после возвращения к жизни.

Госпожа Бравакис обратила внимание на другое: „Человек сперва должен родиться, потом умереть, но перед смертью ему надлежит проснуться“. И еще — я не точно запомнил, но смысл ее слов был такой: Когда человек проснулся от жизненной дремоты, он умирает, потом снова воскресает.

Художник Головин подтвердил, что это, как и многое другое, можно извлечь из Ильинской стенописи, и что наши предки черпали мудрость из Библии, а мы — из Упанишад.

ВАКХИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПО ЕВРИПИДУ

Недавно в Париж пришла книга, которую мы долго ждали: „Трагедии Еврипида“ в переводе Иннокентия Анненского.

При жизни Анненский напечатал лишь часть сделанных им переводов в одном томе: „Театр Еврипида“. После его смерти вышли все переводы в трех томах, под редакцией Ф. Зелинского, 1916-21 гг.

В теперешнем издании собрано все что сохранилось от Еврипида — 18 трагедий в двух томах (Москва, издательство Художественная Литература, 1966-1969).

Здесь будет идти речь об одной из последних трагедий. Сюжет „Вакханок“ принадлежит к кругу мифов, связанных с установлением в Греции культа Диониса.

В прологе появляется Дионис перед дворцом фиванского царя Пенфея. Этот царь не хочет признать в Дионисе сына Зевса и бога. Дионис рассказывает о своем пути в Элладу из Индии через разные страны Азии. В этом перечислении стран и народов косвенно указана связь между этим богом и его финикийским двойником Адонисом, а также шумеро-вавилонским Думузи-Таммузом.

От всего облика Диониса в прологе и дальше, в эписодии втором, исходит какое-то тревожное обаяние, еще прежде чем он начинает разговор со своим врагом, царем Пенфеем. Дионис не похож на древних, классических, понятных богов Олимпа и зрителю сразу становится ясно, почему Пенфей не признает в нем бога и принимает за самозванца.

Дионис двойствен, он непонятен уже потому, что по внешности он человек, красивый юноша. Он как будто не совсем нормален. Царь чувствует в нем опасность не только для старого культа, но и для всего социального строя. Этот пришелец из Малой Азии несет революцию. Он сводит с ума женщин, притом не только рабынь и служанок, которым надоело коротать век за пяльцами, но и престарелую царицу Агаву, мать царя Пенфея. Она одна из первых схватила тирс и, украсивши голову венком из змей, убежала в горы, ведя за собой толпу вакханок.

Некоторые мужчины, даже старцы, тоже поддались колдовству, тоже взяли тирс и, забыв про свои седины, начинают плясать среди площади, на глазах у всего города. Это описано в первом эписодии.

Скоро в Фивах никто, кроме царя, не может противостоять ворожбе Вакха-Диониса, все украшают себя виноградной лозой, всех закрутило опьянение.

Исключение — царь Пенфей, с душой сухого рационалиста, с трезвым умом, хранитель священных традиций и здравого смысла. Он знает, что самозванец замыслил погубить Элладу. Царь не допускает никаких новшеств, не только вакхических плясок и сомнительных Дионисовых таинств. Он пытается разоблачить незваного гостя перед своими подданными:

Царь: — А таинства, зачем в Элладу вводишь?.. В каком же роде таинства? скажи...

Дионис: — О них нельзя непосвященным знать.

Царь: — А польза в чем поклонникам твоим?

Дионис: — Узнать тебе нельзя, но знать полезно... Все варвары уж чествуют меня.

Царь: — Умом слабее эллинов они.

Дионис: — Как в чем, *но в этом варвар выше грека.*

Царь: — А служите вы ночью или днем?

Дионис: — *Ночь лучше, мрак имеет обаянье.*

Царь: — Ловушка, чтобы женщин развращать!

Дионис: — Как будто днем позорному нет места!"

Царь Пенфей — моралист, консерватор и, вероятно, аскет. Однако мудрецы советуют царю не сопротивляться, лучше пойти на компромисс с новой силой. Но Пенфей чувствует, что сговора тут быть не может, если начнешь уступать, скоро потеряешь все. Так, в эписодии третьем, в напряженных вопросах и ответах представлена первоначальная стадия вакхической революции. Но ведь всякая революция зарождается в вакханалии, когда сама беснующаяся родина-мать (здесь царица Агава) собственными руками убивает родных детей.

Сила и власть выпадают из рук Пенфея. Его охране удалось арестовать группу вакханок, но стены тюрьмы вдруг развалились и цепи чудесным образом упали с пленниц, которые убежали в свои горы, потрясая тирсами и криками прославляя вино и Вакха. Тогда царь, по внушению Диониса, решает сам пробраться в горы чтобы самолично высмотреть, что там происходит. Дионис лукаво советует царю переодеться женщиной, иначе вакханки узнают его и тогда не жди пощады.

Дело идет к развязке. Вбегает вестник и рассказывает хору фиванцев, что произошло в горах. Царица Агава сразу заметила

царя, сидящего на вершине ели, куда он забрался по наущению Диониса. В вакхическом опьянении царица не узнает сына, она принимает его за дикого зверя. Женщины начинают бросать в него камни.

Вестник рассказывает:

„Не удалось попасть им, как ни бились — уж очень высоко сидел Пенфей". Вакханки вырывают ель с корнями. Царь полетел и грохнулся. Раздался ужасный крик — он гибель увидел. И вот, всех прежде, мать его, как жрица, бросается на жертву. Тут Пенфей срывает митру, чтоб, признав свое дитя, Агава пощадила. Ее щеки коснувшись с лаской, царь молил: „Матушка, ведь это я, твое дитя, родная, не губи! Но он молил напрасно: губы пеной у ней покрылись, дико взор блуждал".

Вакханки раздирают, разрывают его на части. „Голову царя сама Агава оторвав, на тирс воткнула". После чего всей толпой, с царицей во главе, вакханки с песнями бегут обратно в город. Мать в восторге кричит фиванцам, что это она, не кто другой, убила зверя. „Поздравишь ли меня?"

Хор: — Поздравлю, изволь.

На площади перед дворцом навстречу выходит древний Кадм. Увидя Агаву, Кадм восклицает: „О горе, горе!

Агава: — Да что же тут дурного, где тут горе?

Кадм: — В эфир (синее небо) сначала взор свой погрузи.

Агава: — Изволь. Что там увидеть я должна?

Немного позже Кадм спрашивает: — Твое волненье, улеглось оно?

Агава: — Не знаю что ты говоришь. Но будто в себя я прихожу теперь, отец...

Кадм: — А чья глава в твоих руках, Агава?

Агава: — Чья? Это лев... Мне так сказали там... Что это, боги? Что я принесла?.. Я вижу, — о! Я вижу смерть свою.

Наваждение исчезло. Все люди и вся природа отрезвели так же внезапно, как до того они опьянели. В вышине появляется Дионис.

Агава: — Мы виноваты, сжалься Дионис!.. Ты прав, о бог, но чересчур суров... Но разве смертный гнев пристал богам?

Дионис: — Отец мой Зевс все порешил давно.

Никто ни в чем не виноват и бессмысленно спорить: все предопределено Зевсом. И не только бог гармонии, Аполлон, сын Зевса, но и бог экстаза, священного безумия — Дионис.

Одна эпоха кончилась, начинается другая. Всякая перемена эпох трагична. Не надо, чтобы старое загнивало, кровь по временам орошает, оживляет землю и на обновленной почве вырастают новые побеги.

ВСТРЕЧА В ВЕНЕ

Недавно в Вене мы с женой пошли в музей живописи и встретили там группу советских экскурсантов. Их водила женщина лет шестидесяти. Она быстро переходила от одной картины к другой и объясняла кратко, но со знанием дела. Было видно что она не приехала с другими из России, уже давно живет за границей и ее работа — показывать русским туристам достопримечательности Европы.

Я подошел к ней и сказал:

Я позволил себе подслушать как интересно вы говорили о Джорджоне и Каравадже и решился просить разрешения присоединиться к вашим слушателям, хоть я не состою в вашей группе и постоянно живу в Париже, уже чуть ли не пятьдесят лет.

Женщина не сразу ответила, она казалась озадаченной, стала всматриваться и соображать, нет ли здесь подвоха. И она решительно отказала: — Раз вы не в нашей группе, вам нельзя с нами ходить.

Я уже раньше заметил среди окружавших человека высокого роста, плечистого, волосы с проседью. Он чрезвычайно внимательно вслушивался и сразу составил мнение о происходящем — принял решение. Он был главным в группе и водительница ему подчинялась. Он подошел к нам и сказал — доброжелательно ко мне и авторитетно к другим:

— Если русский человек хочет войти к нам, то отказа не будет. Прошу вас ходить с нами и слушать, что рассказывает Лидия Карловна.

И, как бы защищая меня от возможного недоверия других, подал мне руку и назвал себя: Ермолаев. Потом все время не отходил от меня.

Лидия Карловна презрительно пожала плечами и сделала вид, что забыла о моем существовании. Ермолаев не интересовался картинами и сразу стал расспрашивать меня: как фамилия, участвовал ли в Белой Армии, одобрил, что за столько лет

не забыл родной язык. Еще поинтересовался, где учился, где женился, есть ли дети, говорят ли они по-русски. Я на все сразу отвечал, а о жене сказал: — Вон она, в желтом платье, идет в стороне.

— Но почему же она не подойдет к нам?

— Она боится, как бы вы не схватили меня за шиворот, не отвезли на аэродром, а оттуда прямым рейсом на авионе в сибирский концлагерь.

Он усмехнулся, не привык что с ним сразу так откровенно разговаривают. Я заметил, что остальные тоже больше смотрят на Ан-Мари и на меня, чем на картины. — Из какой она среды? — спросил он. — Из рабочей среды.

Лидия Карловна фыркнула — не поверила. Одна из молодых женщин сзади сказала своей соседке:

— Я тоже могу купить платье „яичница с луком" и уверять всех, что я парижанка! Ермолаев строго посмотрел:

— Даша, бросьте трепать языком и не мешайте другим слушать про картины. Он подошел со мной к Ан-Мари:

— Переведите ей, пусть не боится, и почему она ходит отдельно, а не со всеми заодно. Ан-Мари не возразила, но скоро опять отстала и продолжала идти на некотором расстоянии.

Ермолаев спросил, чем я занимаюсь в Париже.

— Живу на пенсии, иногда пишу статьи для газеты „Русская Мысль".

— О чем пишете?

— Люди моего поколения были свидетелями, иногда участниками, трагедии нашей истории. Наше дело спокойно обдумать и правдиво рассказать все, чему мы были свидетелями до революции, во время и после, а также что видали за границей. Русский Париж — самое подходящее место для этого.

Но тут уж Лидия Карловна не выдержала и выразила сомнение в моей правдивости, „И вообще вы не тот, за кого себя выдаете!" Я предложил показать мой заграничный паспорт, но Ермолаев сказал, что не надо и что он сам знает, кто брешет (взгляд в сторону Лидии Карловны) и кто не научился врать. Я подтвердил, сказав, что в моем возрасте не пристало изворачиваться и притворяться.

Так мы ходили по залам и Ермолаев о многом расспрашивал, например, о том, как я понимаю „трагедию истории".

— Это очень сложно. Думаю, что в этой трагедии никто не виноват, — сказал я.

В связи с этим, на один из его вопросов я сообщил, что по линии моей матери мой прадед был известным декабристом и отец моей матери родился в Нерчинске.

— Это совершенно замечательно, — сказал он. — Какая встреча!

Я понимал, что никто другой не имел права вступать со мной в разговоры, хотя те, кто были поближе, внимательно прислушивались.

Был объявлен десятиминутный отдых. В „Ротонде“ на круглых диванах всем места не хватило, молодые уступали места старшим. Мне тоже досталось сидячее место. Ермолаев ушел куда-то, кажется, к выходу, выкурить папиросу и вызвать их специальный автобус.

Лидия Карловна никуда не уходила, сидела молча, но подслушивать ей было нечего — все тоже молчали, погруженные в свои размышления.

Эти люди напоминали чеховских персонажей. Я хотел бы с ними поговорить, им тоже это было нужно — но, ничего не поделаешь, нельзя, никак невозможно. Все они были интеллигенты новой формации, некоторые, вероятно, получили высшее образование. Одеты хорошо, как Хрущев на фотографиях 60-х годов.

Когда кто-нибудь решался на мгновение взглянуть на меня, я читал в глазах вопрос, почему же я не возвращаюсь на родину, ведь теперь это уже не опасно, особенно для такого старика. И второе: что такое Европа? Что я нашел в чужих странах?

Потомок декабриста сидел среди них, опираясь на посох эмигранта и вспоминая последние, предсмертные записи Достоевского в „Дневнике писателя“:

„За последние два столетия русские были разделены на две части — каждая особо, а потом вдруг и соединятся!“

Конечно и они читали Достоевского и может быть сейчас, среди этих картин, одновременно со мной вспоминают пророчества „Дневника Писателя“. Но они, не захотевшие убежать на Запад, являются народной совестью, а во мне они должны видеть профессора Градовского или его запоздалого ученика. Как бы дать им понять, что я не такой.

„Русские скорбящие скитальцы бывали иногда большими плутами“, обращался Достоевский к собирательному Градовскому: „гуманным профессором, любителем изящных искусств, славным демократом, прелестными по развитию дамами в самых невероятных платьях“.

Еще я представлял себе, как через час, когда их автобус повезет всех в Зальцбург, Лидия Карловна начнет выкладывать все, что накопилось у ней на сердце.

— Не могу понять, зачем было заводить с таким разговоры! Много таких ископаемых шатается по Европе. Я их сразу вижу и гоню в шею, как ядовитых пауков. Он вам врал, а вы, извините, развесили уши.

— Не думаю, чтобы вы были правы, — отвечает Ермолаев, нахмурившись. — К тому же, это можно будет проверить. Но он не враг, он что-то совсем другое.

Осмотр музея кончился. Ермолаев вернулся и мы все пошли к выходу, где их ждал автобус. На прощание я сказал Ермолаеву: „Новая Русь. Всё сойдется и примирится. Это всеобщее духовное примирение, начало которого лежит в просвещении".

— Да, сказал он, — это из Достоевского. Только вот в чем вопрос: как Достоевский понимал просвещение?

— Так же, как понимает это слово Церковь, когда Великим Постом священник возглашает: *Свет Христов просвещает всех.*

Я произнес это не понизив голоса, так что некоторые вокруг слышали. Какое впечатление это произвело — не знаю, на лицах ничего не отразилось. Мне показалось, что Ермолаев незаметно тронул мою руку. Может быть он предупреждал, что не надо говорить дальше, преждевременно разглашать тайну? Автобус умчал их, обогнув памятник Марии-Терезы. А мы с Ан-Мари пошли к фрау Биндер, у которой снимали комнату.

Я вспоминал покойного Петра Константиновича Иванова, автора книги „Тайна Святых". Петр Константинович рассказывал, что в эпоху его студенчества в московской университетской церкви над входом была та дивная надпись о просвещении всех.

— Я тогда, — говорил Иванов, — не совсем сознавал про Свет Христов, а вот теперь давно забыл и Римское право и прочие науки, но эти четыре слова светятся в сердце все ярче. Значит, университетские годы оказались не без пользы.

ВЕЧЕР У ФРАУ БИНДЕР

Когда мой поезд остановился в Вене, я пошел в контору где даются справки о свободных комнатах для туристов в частных квартирах. Я попросил что-нибудь подешевле, но в самом центре города. Секретарша дала адрес на Бекерштрассе, около собора Св. Стефана.

Фрау Биндер встретила меня в передней, ее уже предупредили с вокзала по телефону.

Первые дни я ходил по спиралям, по лабиринтам, по кругам в старинных кварталах вокруг моего жилья. Были также подворотни, превращавшиеся в крытые пассажи, иные еще не вполне отремонтированные после бомбардировок 1945 года. Эти переходы выводили то к собору, то к небольшим круглым площадям с белой церковью 18-го века и с кондитерскими, где можно спросить также пива и газеты.

Собор сильно пострадал от войн. В правом притворе висят большие фотографии, на которых колокольня наполовину разрушена, крыша тоже, внутри все разбито и обнажены катакомбы. Не трудно было догадаться какая армия это сделала, хотя в тексте под фотографиями был обозначен только год.

Радиус моих прогулок постепенно увеличился. Я стал заходить в музеи и сады где по вечерам оркестры исполняли вальсы всех Штраусов. Постепенно начал привыкать к мягкому серозеленому городскому пейзажу. Дождь моросил почти не переставая. Из комнаты было слышно как автомобили на быстром ходу расплескивают лужи.

Матильда Биндер уверяла, что погода здесь до моего приезда стояла сухая и солнечная.

Многие улицы, набережные канала и бульвары носят имена Франца-Иосифа и его предков, особенно Иосифа II и Марии Терезы. Во всех музеях при входе стоит белый бюст старика с бакенбардами.

Прохожие все без исключения приветливы и напоминают туристам не переходить улицу — если турист, что случалось и

со мной, не замечает красного сигнала. Случилось что полицейский, признав во мне француза, переходящего где не положено, крикнул в мою сторону: „alors! alors!“ — но совсем не сердито.

По небу с утра до вечера проходят пушистые облака, как те перины, какие фрау Биндер кладет на мою кровать. Иногда сквозь туман виднеются вдали синие холмы — последние отроги Альп спускающихся к Дунаю.

На вторую неделю я вдруг вспомнил немецкий язык, как знал его 60 лет назад. Фрау Матильда будто только этого ждала чтобы пригласить меня провести с ее гостями вечер и послушать музыку.

Гостей с женами собралось человек десять. Сперва мы слушали „Волшебную Флейту“ — радио-передачу из Зальцбурга. Потом начались разговоры. Один, по виду рабочий, сказал мне, что он знает Россию, попал в плен под Сталинградом. Он показал, как надо сдаваться: бросить витновку и поднять руки вверх. Все одобрительно засмеялись. Я никак не предполагал, что такой жест не только не скрывается, но вызывает сочувственное одобрение. Заметив мое недоумение бывший пленный сказал:

— А что прикажете делать? Вот и герр Шильдермеллер тоже сдался американцам во Франции.

Шильдермеллер усмехнулся и тоже отчетливо показал как он сдавался, прибавив, что надо найти подходящий момент, что-бы какой-нибудь оголтелый вояка из гитлеровцев не огрел тебя сзади очередью из пулемета. „Потому что не умирать же за Гитлера, который к 45-му году окончательно спятил с ума. Ведь меня не спросили, хочу ли я ехать в Нормандию и сражаться с американціми. А если бы и спросили, я бы ответил, что, конечно, хочу, от всего сердца и всей душой, только этого и ждал всю жизнь.

— А потом что было?

— Потом я работал по восстановлению мостов и станций, в разных местах, в том числе в Англии. Кормили сперва неважно, сигарет пять штук на три дня, потом стало лучше. Отпустили через три года. Приехал сюда и начал восстанавливать Вену. Так что о чем же толковать? Все разрушено, из-за того что кто-то в Мюнхене заболел нервным расстройством. Мы все здесь пацифисты. Больше не играем. А если опять заставят, то при первом удобном случае — две руки вверх и „хау-ду-ю-ду“.

Первый подтвердил: — В плену надо сразу проситься на работы. Меня отправили на шахты, за Урал, хоть я и не специалист. Было холодно и голодно, но все же лучше, чем за колючей проволокой снег жевать.

Слушая их, я почему-то чувствовал себя неловко. Почему? По глупости, конечно. Ведь вокруг сидят мои друзья, люди простые и серьезные, они преодолели в себе старые обиды и непонимания — а вернее, никогда всего этого и не знали — а я, их гость, к тому же не принимавший участия в последней войне, все чего-то смущался. И, опять же по глупости, пробормотал, что совсем не одобряю разрушение соборов, на что мне сразу ответили:

— Что же, наши тоже разрушали у вас все, что попадалось на пути. А профессор Бухмайер добавил по-французски: — Здесь не злопамятны, ici nous sommes sans rancune. Сейчас мы относимся к вашим солдатам, которым приказали занять Чехословакию, с сожалением и сочувствием. Мы знаем по опыту, куда приводит стремление навязать другим силой свою правду. К счастью для нас, теперь мы вышли из игры. Лучше быть как Швейцария, чем великодержавной Австро-Венгрией наших отцов. Так спокойнее, приятней и чище. И счастливее. Я учу моих студентов не соблазняться могуществом великих держав. Вы заметили на улицах и в парках, что наши дети никогда не играют в войну? Может быть, они инстинктивно ощутили, что всякое насилие, даже с благой целью, ведет к безумию и саморазрушению. Наше поколение окончательно преодолело горечь поражения. Но позволю себе задать один вопрос — не примите, ради Бога, за праздное любопытство — как вы чувствуете себя в положении эмигранта? Если только вас не обидит этот вопрос.

— Нисколько. Мы давно освоились с нашим положением и чувствуем себя, как дома, везде где осталась свобода. Русский народ, как вы только что дали понять, переживает опасную болезнь: он претендует на мировое господство и называет это, по Достоевскому, мессианизмом. Это один из видов идолопоклонства. Достоевский был противоположного мнения, он считал, что всякий мессианизм есть признак национального здоровья и духовного роста народа. Но в Евангелии нет ни намека на „национального Христа".

— Вполне ли вы уверены во вреде национализма? спросил профессор.

— Нет, не вполне. Может быть, в повышенной привязанности к своему отечеству есть какая-то правда. Но загадка национализма очень запутана и я не могу так просто разгадать ее. Достоевский упростил этот вопрос, как почти все наши писатели. Одно ясно: национализм связан с войной, а я сам никогда не возьму в руки оружия и завещаю это для моих потомков.

Герр Бухмайер сказал: — Да, философия вообще и философия истории в частности состоит в том чтобы ставить вопро-

сы неразрешимые и не ждать ответов. Рассматривать эти загадки в их неразрешимости без расчета найти когда-нибудь логические истолкования... Основное противоречие человеческой жизни в том, что хотя почти каждый из нас в начале своей общественной деятельности обращен к добру, но в то же время он принужден подчиняться слепой силе, которая в отношении добра абсолютно безразлична. Сейчас в Австрии мы более свободны чем когда бы то ни было, но не вполне. Это всегда так и никакая человеческая мысль не может выйти из противоречия. Это не значит, что всякая мысль ошибочна, наоборот это сознание антилогичности часто оказывается признаком истинности мысли. Платон это знал. Но нужно различать разные случаи. Существуют законные и незаконные использования неразрешимости противоречий. Законные приводят к смирению. Незаконность состоит в том, чтобы нарочно коллекционировать мысли несовместимые и радоваться тому, что ребус не поддается расшифровке. Об этом есть в тех же „Бесах“ Достоевского, когда правитель губернаторской канцелярии города Скотопригоньевска, прибалтийский немец, упрекает другого немца, губернатора Лембке: „вы всегда говорите преострые вещи и потом засыпаете спокойно“.

Все дело в том, чтобы никогда не засыпать и не баловаться остроумными высказываниями.

— Вена семидесятых годов, кажется, к такому идеалу постепенно приближается, — сказал я.

В ДАЛМАЦИИ

Служба в югославской пограничной страже была для меня совсем не обременительна. Утром шел в канцелярию, где уже заседал мой начальник „чика Шиме“ (дядя Семен), хороший сановитый старик, бывший унтер австрийской армии. Потом я делал все что хотел. Дремал в сосновой роще над сборником сербских народных песен Вука Караджича, уезжал на велосипеде купаться в Адриатическом море, по пути останавливаясь на постах, где вместе с хорватскими пограничниками жили мои русские подчиненные из остатков Белой армии.

Корнет Керн уходил на озеро Врана стрелять диких уток, которых вечером корнет Медведецкий жарил на примусе. Мы жили втроем, у нас была общая бритва и ремень чтобы ее править.

В направлении противоположном от моря начиналось Загорье — Динарские Альпы. Там была пещера, говорили, что она тянется под горами на многие километры. После жаркого малярийного летнего дня, в лабиринтах пещеры казалось очень холодно — восемь градусов выше нуля и летом и зимой. Там, со свечой, мы с Медведецким осматривали стены, в тщетных поисках доисторических рисунков. Мы рисковали углублятся в лабиринты, не выпуская веревки — нить Ариадны — начало которой привязывали к дереву у входа.

Недалеко от города Задара, который тогда, до последней войны был по ту сторону итальянской границы, в стороне от шоссейной дороги скрывалось среди ущелий и скал православное село Смокович. Об нем упоминает Пушкин в примечании № 18 к „Песням Западных Славян“: „Мериме поместил в начале своей Guzla известие о старом гусляре Иакинфе Маглановиче; неизвестно, существовал ли он когда-нибудь; но статья его биографа имеет необыкновенную прелесть оригинальности и правдоподобия. Книга Мериме редка, и читатели, думаю, с удовольствием найдут здесь жизнеописание Славянина-поэта“.

Дальше у Пушкина следует это жизнеописание по-французски. Мериме рассказывает, что в 1816 году он жил в городе Зара

(нынешний Задар), а дом Иакинфа Маглановича находился в селе Смокович, на берегу ручья, впадающего в озеро Врана. В предисловии к изданию 1835 г. „Песен Западных Славян", Пушкин приводит по-французски письмо Проспера Мериме к С. А. Соболевскому, из которого мы узнаем, что Мериме никогда в тех местах не был и что Песни были придуманы им самим. „Принесите мои извинения перед Господином Пушкиным. Я горжусь и в то же время стыжусь, что из-за меня он попался".

Чтобы попасть в Смокович, из нашего Бенковца надо было идти часа два, сперва по шоссе, потом по горным дорогам, непроезжим для велосипеда. Всюду валялись камни. Деревьев в этом краю мало, зато много колючих кустов и только над морским заливом несколько низкорослых сосен. Все дома из серого камня. В городе Нин имеется дом эпохи Цезарей — два этажа, окна — узкие бойницы. Там проходит старинный путь из Рима в Византию.

Мы с Медведецким приходим в Смокович после полудня, стучим в окно священника, которого зовут Шьор Мате (Синьор Матвей). Он уже знает зачем мы пришли, дает нам ключ от амбара, где хранится церковный архив, благодарит за принесенный нами контрабандный герцеговинский табак — ароматные золотые волокна, говорит: Идите в тень, отдыхайте, работайте, ройтесь в архивах, будем ужинать, потом вы останетесь ночевать.

Наша работа заключалась в просмотре всех метрических записей — регистрация крестин, бракосочетаний и похорон за последние два столетия. Но сколько мы ни искали, никаких следов И. Магхановича, или хотя бы его семейства, не находили.

В сумерках появлялся о. Матвей с бутылкой белого вина с острова Вис. Это одно из лучших в мире вин, называется оно Желявка.

— Ну как, архивариусы? Опять ничего не нашли? Выпьем по крайней мере, помянем Пушкина вином с наших островов. Он бы оценил.

— Да еще как бы, говорит Медведецкий и цитирует Пушкина:

„Адриатическое море! О Брента! Вновь увижу ль вас!" О. Матвей наполняет стаканы. — „В Нине порядочного вина не достать, это мне прислал зять с Хвара. В Нине кроме рыбы ничего нет. Живем мы скудно. Да и какая жизнь, „молим вас" (спрошу вас), если простая кухарка получает больше, чем священник? А какие у нее заботы? Поседлать осла и ехать в Нин на базар!

— У вас, отче, тоже жизнь спокойная, да и нам пожаловаться грех: выскочили живыми из пекла, когда наши города тряслись и горели, как Геркуланум с Помпеей.

„ Да, сейчас для меня, старика, настал отдых, а раньше в этом краю тоже всяческое бывало. Вот, извольте взглянуть, храню как музейную редкость — служебник, изданный для православного духовенства на Балканах. Киевское издание прошлого столетия. Читайте, как служили ектенью: „Еще молимся о самодержавнейшем великом государе нашем султане Абдул-Гамиде, о воинстве и всех людях его“... А перед тем — за венецианского дожа, а совсем недавно я сам возглашал „об императоре Франце-Иосифе“. Вот мы какие экуменисты, за всех молились, одно время даже за императора Наполеона.

Идем в дом, садимся за стол. О. Матвей, которому перевалило за 80, опять возвращается к прошлому:

— Австрия, в сущности, не слишком притесняла нас, православных. Управляла методом „разделяй и властвуй“, дивида ет импера, (подмигнул по-латыни своим ученым гостям — дескать, не одни ксендзы получали высшее образование).

Мы переводим разговор на Пушкина. О. Матвей достаточно знает русский, чтобы понимать Пушкина, но не достаточно, чтобы как следует оценить его стихи. Медведецкий, у которого редкая память, читает наизусть „Похоронную Песню„ Иакинфа Маглановича (№ 7 в „Песнях Западных Славян“).

С Богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава Богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

Пуля легче лихорадки;
Волен умер ты, как жил.
Враг твой мчался без оглядки,
Но твой сын его убил.

Вспоминай нас за могилой;
Коль сойдетесь как-нибудь,
От меня отцу, брат милый,
Поклониться не забудь!

Ты скажи ему, что рана
У меня уж зажила:
Я здоров — и сына Яна
Мне хозяйка родила.

Деду в честь он назван Яном;
Умный мальчик у меня:
Уж владеет ятаганом
И стреляет из ружья.

Дочь моя живет в Лизгоре;
С мужем ей не скучно там.
Тварк ушел давно уж в море;
Жив иль нет, — узнаешь сам.

С Богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава Богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

— Вот, изволите видеть, святой отец, заключил Медведецкий, как из всей этой невероятной путаницы: никогда не существовавший Иакинф, никогда не приезжавший сюда и не знавший здешнего языка француз Мериме, который самое большее заглянул в карту задарского уезда, снятую офицерами Наполеона — получилось дивное, божественное, самое пушкинское стихотворение.

— Возможно что так, сказал о. Матвей, я мало в стихах разбираюсь, плохой ценитель. Для меня лучшие стихи это псалмы Давида.

— И это как раз доказывает, что чувство поэзии вам не чуждо. Относительно Маглановичей, тут никаких таких не было, это ясно. Имя Тварк — совершенно невозможное. Но Лизгор, куда Иакинф выдал свою дочь, есть ли тут такое селение?

— Такого нет и название неудачно придумано. Скорее надо бы написать „Загорье“, где действительно скучно и холодно после нашего Приморья. У нас даже пальмы в садах растут!

— Так. Спасибо за пояснения. И вс же, поверьте нам, из ничего получилась волшебная гармония, и ей без волненья внимать невозможно. Я и перед смертью буду вспоминать эту песню.

— Почему так? удивляется о. Матвей. Будто вы так воинственны!

— Тут дело вовсе не в кровавой мести, или не только в этом. Речь идет о трудной, но все же приятной жизни на земле и поставлен вопрос о продолжении жизни за гробом. И не один Пушкин так об этом размышлял, но все мы, с тех пор, как свет существует. Будет ли что-нибудь по ту сторону океана? Не следует отмахиваться от этого вопроса.

Это бесстрашие Пушкина перед могилой — и, значит, вообще бесстрашие перед чем бы то ни было, обнаруживается во всем, что он написал и в том, как он умирал, на что обратил внимание Жуковский.

Пушкин — певец, но сила его в том, что он никогда не забывал о смерти и каждый день был готов умереть. Как вы об

этом мыслите, отче Матфие? Человек, который так просто смог вглядеться в смерть, получает дар любви ко всему.

— Так как же вы полагаете относительно Тварка? Жив Тварк, или нет?

— Что ж, как священник отвечу: конечно жив. А как старый человек, скажу: здесь тайна из тайн. Впрочем, я скоро узнаю сам. Жаль только, что не смогу прилететь оттуда и вам все подробно доложить.

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

Двадцать пять лет назад дошла до эмиграции эта замечательная, удивительная книга о войне. И нам казалось, что хотя не мало книг было написано на эту тему, от Иллиады до „Войны и Мира“, однако А. Твардовский сумел сказать что-то, чего до него о войне не знали и не говорили.

Это не значит, что Твардовский оказался гениальнее Гомера и Толстого, ни что его герой храбрее и человечнее, чем люди, воевавшие в прошлых веках. Но сейчас что-то новое замечено о войне.

Война всегда была загадкой: откуда она пошла, кто её начинает, кто из воюющих сторон в ней виноват. Новое в „Теркине“, что, в отличие от Одиссея, Наполеона, Кутузова, князя Андрея, Теркин (не знающий уныния и тем самым становящийся праведником) ощущает в событиях, в которых принужден участвовать, собственную вину, не только коллективную.

В чем эта вина, Теркин не знает. Перед кем он виноват, в чем вина, в чем надо оправдаться? Но именно с этого он начинает свои военные воспоминания. И в этом доказательство роста религиозного сознания людей и оправдание Истории.

В 1941 году со всей армией он отступает. Вокруг развал полнейший. Неприятель опередил отступающих на много переходов, вокруг по горизонтам пожары, „до гола земля раздета и разгромлена, учти“, рассказывает Теркин. Он пробирается лесными тропами, подальше от больших дорог, иногда идет „в компании свободной“ — со случайными спутниками, подобравшимися из разных воинских частей. Он старается внушить им свою веру в то, что все кончится благополучно: „Я одну политбеседу повторял: Не унывай!“ Потом снова идет один:

„Шел он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно в чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог!

И по горькой той привычке,
Как в пути велела честь,
Он просил сперва водички,
А потом просил поесть.

Тетка — где ж она откажет?
Хоть какой, а все ж ты свой.
Ничего тебе не скажет,
Только всхлипнет над тобой,
Только молвит, провожая:
— Воротиться дай вам Бог...

То была печаль большая,
Как брели мы на восток".

Но вот миновали страдные года, война приближается к концу. Теркин, победитель, идет на запад, и его рота вместе с ним, хотя состав роты не раз обновлялся за три года и сам он был три раза ранен. Но теперь он, освободитель, бодро идет по большаку, от Смоленска на Варшаву, по наполеоновской дороге. Откуда же опять это чувство вины — ведь он оказался подлинным героем, не даром же получил все медали и даже орден из рук генерала. И однако снова:

„Я загнул такого крюку,
Я прошел такую даль,
И видал такую муку,
И такую знал печаль!

Мать-земля моя родная,
Дымный дедовский большак,
Я про то не вспоминаю,
Не хвалюсь, а только так!..

Я иду к тебе с востока,
Я тот самый, не иной.
Ты взгляни, вздохни глубоко,
Встреться наново со мной.

Мать-земля моя родная,
Ради радостного дня
Ты прости, за что — не знаю,
Только ты прости меня!.."

Война ставит человека в особое положение перед тайной жизни и смерти. В нормальную эпоху здоровый деревенский парень не задумывается над этими тайнами — его забота как устроить свою жизнь, заработать, жениться, обзавестись потом-

ством. На войне все иначе, нет дома, но есть паек и обмундирование. Он свободен от необходимости выбирать. Сперва это тяжело и непривычно, жить без свободы, но вдруг (в этом самое загадочное ощущение человека-воина) он получает иную, неожиданную свободу. Он свободен от ответственности, за него теперь думает начальство. В самых удачных случаях, как это произошло с Платоном Каратаевым, предшественником Василия Теркина, воин освобождается от уныния, и тем приближается к праведности.

Про религиозное озарение того Платона и нынешнего Василия сказано не прямо, но читатель догадывается в чем тут дело: им открылась та сверх-свобода, о которой говорится в Священном Писании — „Царство Божие внутри вас" (Лука, 17, 21). Толстой, конечно, думал об этом, Твардовский может быть и нет, вот как он описывает преображение Теркина в короткой главе „О войне":

„Раз война — про все забудь
И пенять не в праве.
Собирался в долгий путь,
Дан приказ: — „Отставить!"
Сколько жил — на том конец,
От хлопот свободен.
И тогда ты тот боец,
Что для боя годен...

А застигнет смертный час,
Значит номер вышел"...

В другом месте:

„Ни жениться, ни влюбиться
Он не может, нету прав,
Ни уехать за границу
От любви, как бывший граф"...

На войне какая-то легкость. А страх? Отягощает ли героя мысль о близости смерти? Да, и в окопе и в атаке эта мысль, загнанная в глубины сознания, не оставляет человека. Даже во сне нам мерещатся разные варьяции на ту же тему: или что смертельно ранен, или что получил вызов на суд, и не знаешь в чем дело, нельзя ни уклониться, ни оправдаться, но в чем точно меня обвиняют? Хотя, конечно, вина есть. Как в „Процессе" Кафки. (Но это из личных воспоминаний, не из „Теркина").

Но наряду с припадками „сабантуя" (панический страх, глава первая, „На привале") война дает религиозное просвет-

ление, радость, ничего общего не имеющую с сомнительным удовольствием от сознания своей храбрости или хорошо исполняемого долга. У Твардовского вся поэма светится чистой радостию христианской души, получившей откровение о Царстве Божием внутри нас.

Это также означает, что после великих бедствий революции и войны народ, из собственных своих крестьянских недр, возрождается с новой религиозной силой.

Начиная с древних Былин, силу свою русский народ черпал не только в касте кшатриев — „прочим флагам не в упрек", по слову Теркина. Не у нас родился Дон-Кихот. Русские богатыри набирались из всех сословий, на западе только из одного. Крестьянин там в старину не воевал, в крайнем случае он служил оруженосцем у рыцаря. У нас главным богатырем, которому подчинялись остальные, был Илья Муромец, роду крестьянского. После шли: Добрыня Никитич, боярский сын, дядя самого князя Владимира. Потом Алеша Попович, роду поповского; Иван Гостинный, купеческий сын; и Васька Буслаев, от свободного Новгорода, может быть один из родоначальников крестьянского сына, Василия Теркина. Руководит всеми Илья Муромец, за всех начальник. Это русская особенность, совершенно невозможная ни в Европе ни в Индии.

Еще один признак религиозности Теркина: он живет вне морализации и не знает укоризны. Не оскорбляет словами даже врагов. Большинство русских поэтов, примерно 95%, черпают свое вдохновение из скучной морализации, осуждают зло и хвалят добро. Но это мало убедительно, потому что словесное осуждение и одобрение мешает настоящей, трудной и суровой борьбе со злом. Счастливые исключения среди поэтов и прозаиков — Николай Заболоцкий, Анна Ахматова, Солженицын, Булгаков, Зощенко, Пастернак. Есть и другие, о которых осторожнее пока не вспоминать.

Можно только сказать, что всякий творческий ум, поднявшийся до некоего предела — после которого отпадают законы нашей логики — уже царит над словесным выражением, вследствие напора множества сложных взаимоотношений, какие содержит в себе религиозная истина. По ту сторону рассуждения знание сливается с тем, что мы называем верой (В Индии имеется другой термин, означающий „точная очевидность, не доказуемая"). И не важно, имел ли мало разумения, развивался ли он в монастырской келии или на степном просторе.

Важно одно, что поднявшись над своей разумностью, он победил наивный атеизм, ту начальную школу, через какую прошел и Пушкин. Никто не входит в царство истины без того

чтобы пройти через собственное уничтожение, что близко к духу смиренномудрия.

Сквозь все свои шутки и подмигивания, Теркин как бы подсказывает нам: не обольщайтесь ни вашей, ни чьей-нибудь другой мудростию. Игра обстоятельств, как „пуля злая“, может в один миг отобрать от меня все, что я от жизни получил, включая мое „я“. Каждый может вдруг все потерять и кто застрахован от потери разума? Может быть, в моем сознании все окажется заменено чем-то низким и презренным, но это тоже ничего не доказывает.

Речь идет не о сдаче перед царством необходимости или слепой природой. Здесь область и тема великой свободы и полноты доверия „ начало Царства Благодати или Славы. Та религиозная глубина, как на лучших иконах, где малое „я“ поглощается „Я“ Великим и где то, что на войне и в миру представлялось как не-свобода, превращается в абсолют добра, в неугасимый огонь, горящий внутри, глубже всякого самопознания. Абсолютное добро — это мистика, другая область, не земная. На земле добро противопоставлено злу, хотя принцип добра один повсюду.

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

В этой тетради я записывал то, что говорил Борис Поплавский во время наших прогулок.

Вчера вдруг нашел эту тетрадь в Со, в подвале у моего сына, среди старых писем и дневников.

Каким бы глупым перестарком я ни был в 30-х годах, перед вторым потопом, все же понимал и поэтический уровень Поплавского и что моя обязанность — по возможности сохранить все им сказанное во время наших „прогулок по фортификациям", вокруг Парижа.

Это не был разговор со мной; он отвечал на собственные мысли и я был нужен скорее как слушатель, чем как собеседник.

...„В часы сомнения следует думать о том, что каждое произведение имеет своего читателя, хотя бы одного.

Пишутся же частные письма. (Хорошее произведение всегда имеет что-то от перехваченного личного письма).

Животные живут, как жили люди в раю. Они не знают, что должны умереть. Но, вместе с тем, только это знание дает человеку чудный тембр его голоса. (— А у соловья? спросил я. Поплавский не ответил).

„Я делал все это машинально, сам не знаю как" (из французской песни 20-х годов) — отвечает человек на Страшном Суде. Судия улыбается и, дав ему подзатыльника, пропускает в рай.

В опустошенных душах возникает видение искусства, и они еще надолго привязаны к жизни. Переставши быть действующими лицами, они еще надолго остаются зрителями и воистину дьявольские силы имеет тот, кто научился презирать красоту мира и стал окончательно равнодушен к созерцанию его бессмертной фрмы. (Мы проходили перед развалившейся усадьбой 18-го века, превращенной в свечной завод).

Читай Шеллинга. Ты узнаешь, что в Толстом художник сдерживал святого и, преодолевая художество, святость достигла

подлинного эпоса („Казаки“). Но, наконец, препятствие пало и тогда, очень скоро, сама святость перестала звучать и потухла.

Удачная смерть: отвернуться от дерева познания, протянуть руку к дереву жизни, лжи и сна — какая последняя храбрость и благородство! Вновь обрести спокойное сердце в любовании жизни и тьмы. Может быть за „невинностью“ говорит могущественный инстинкт самосохранения.

Ведь ты человек светский.. Уметь говорить и двигаться на людях, как у себя дома, какая тайна. Только самые лучшие писатели обладают ею, все остальные прибегают или к официальности профессоров истории или, что еще хуже, к хихикающей развязности морализирующих иронистов.

Гордость высшей расточительности — ничего не писать. Разбрасывать на ветер небытия то малое, что можно было спасти для относительной вечности, свое дыхание.

Жизнь писателя. Кинематографический эпизод: умирающий телеграфист среди грома и землетрясения, в совершенном отчаянии, выстукивает о происшествии. На приемной станции играют в карты и спят. Бесполезная лента кучей наползает на пол.

Борис Друбецкой у Толстого поступил в масонскую ложу только для того, чтобы познакомиться с некоторыми влиятельными лицами, которые были ее членами. Не то же ли я делаю, занимаясь философией? Ведь философия для меня, это личная жизнь философов. Их темное делание на земле и светлая смерть.

Постоянно писать на самой высокой ноте своего голоса неправильно, в этом какое-то неумение пользоваться контрастами. Пророк, который перед началом представления станцует качучу или чарлстон, несомненно острее поразит, чем тот, который прямо начнет со слез.

Говори все о том же, о любви и смерти... Розанов был не прав, говоря: „не хочу истины, хочу покоя“, ибо истина и покой, истина и смерть крестная — тождественны. Если найдешь — не дай Бог — истину, что останется делать, раз уж все сделано, одно — умереть от скуки или от счастия. А полюбив, найдя любовь — продолжать любить, продолжать жить. Истина убивает, любовь оживляет.

Человек настолько хитер, что единственные два свои настоящие страдания: страдание от разлуки с человеком и от разлуки с Богом — сумел превратить в два вида самоистязания: Поэзию и Религию.

Только трагическая любовь имеет историю, как только та вода подает голос, свободному течению которой поставлено препрепятствие. Религиозность тоже вся насквозь трагична, ибо полна преград разума, об которые бьется и сияет воля к вере. Это

одна из основных красот, свойственная только редкому и драгоценному типу любви.

Конкурс красоты. Раньше всех запела жизнь. Она пела сладко и хрипло, двигая бедрами и фальшивая. Но когда на противоположном конце города высоко зазвучала любовь, жизнь тотчас же умерла от стыда и торопливо начала разлагаться. Но когда неизвестно откуда, как будто из-под земли, смерть пропела только одну музыкальную фразу — участь конкурса была решена. Измученное жюри встало с мест и удалилось для совещания.

Людей, которые неспособны погибнуть, невозможно любить, потому что их невозможно жалеть.

Никогда не следует выходить из круга любви, из своего света на внешний холод, никогда не следует удостаивать нелюбящего тебя ни единым словом.

Каждое утро, встав от сна, помни о том, что каждый день твой по особенному священен и сладостен и смертен. Пожалей его. А если останется счастия, пожалей и все остальное.

Республика солнца. Не хочу, или не могу быть моральным или вежливым со всеми. А только с теми, которыми восхищаюсь. Пусть внутри цивилизации невидимо существует „Республика Солнца", граждане коей, связанные между собой исключительно одним восхищением, свободно уничтожат между собой всякое зло (это так легко, когда благоговеешь). Относительно остальных (внешний круг) морали не существует и всякое зло позволено.

Все по-разному носят свою смерть, одни как красивую шляпу, лихо и даже набекрень. Другие с романтической нежностью, как Офелию на руках. Третьи же (презренные), как разъедающего рака под одеждой, который неустанно грызет их и ядовито брызжет на окружающее.

Может быть природа от любви к человеку просто перестаралась, неосторожно наделив его столь великими способностями эстетического воображения, что он смог создать идею Бога (эта идея есть величайшее произведение искусства). И, воистину, создав такой идеал, перед которым природа побледнела и с ужасом отвернулась, человек так смертельно влюбился в него (в идеал), что ему уже невозможно жить без него (загадка Ставрогина). Так вокруг людей ставрогинского типа замыкается круговорот сатанинской иронии природы, а именно, что она из ада страстей, стараясь вырваться к свету эстетического созерцания, встретила эту невыносимую, как радий, для счастия, покоя и жизни идею и умерла, убила себя от самоотвращения. Для европейцев типа Ставрогина (у нас это редко встречается и нам не совсем понятно), если идея Бога окажется ложью, она все же

достаточно могущественна, чтобы убить человека, который не сможет пережить этой ложности.

Было время, когда я видел себя на солнце. А потом совсем перестал видеть и во всем был Один Ты.

Бесполезный бесплотный труд наполняющий жизнь. Усни, усни. Как странен, как нежен и как тленен этот словесный рай! Так творение пародирует Творца, но вот теперь это дерево жизни растет посредине сада и к нему запрещено прикасаться.

Единственное законное отношение к искусству это средневековое. Мужицкое, в душе туповатое, верующее, крепящееся, мирящееся с долгим художественным голодом, верующее во внутренний рок. Ибо искусство это благодать, которая неизвестно на какой час приходится, а если пришлась, неизвестно, сойдет ли еще раз, как Христова одежда, которая не по заслугам, а по внешнему произволу неожиданно выпадает одному из играющих воинов.

Увы, я знаю тайну тех, которые никого не любят. Я знаю, и то, что они противопоставляют счастью любить: это счастье не бояться смерти. Ибо только тот, кто никого не любит, даже самого себя, ни за кого не боится и вообще не думает о смерти. Почему для наших критиков Ставрогин неразрешимая загадка? Потому что он не знал ни слез, ни смеха, а наши знают, и тем лучше или тем хуже.

Если тебе не все понятно — Hölderlin даст объяснение. Прочти у него „Ночь спустилась". Реальна только „Республика Солнца" или „Рай Друзей", остальное нас не касается..."

В те годы в Париже начали появляться книги Фридриха Гельдерлина (1770—1843). Мы очень восхищались его стихами.

Вот отрывок „Ночь спустилась" в моем переводе:

Ночь спустилась. Чьи-то тени полегли среди деревьев.
Звезды жалят их как пчелы. Но явился новый вестник.
Он держал зажженный факел, как ночной искатель кладов.
Лишь немногие очнулись, и обрадованы светом,
Засветились души пленных, загорелись жизнью лица.
Но Титаны снова дремлют, усмехаясь сновиденью.
Цербер, глаз не раскрывая, пьет из чаши. Длится ночь.

НОЕВ КОВЧЕГ

В начале 1919 года пехотный полк имени Карла Либкнехта охранял от бандитов сахарные заводы Украины. Мы стояли на заводах, когда-то принадлежавших Терещенке в Рыльском уезде.

Начсостав состоял почти исключительно из офицеров царской армии. Жили мы в большом доме, где во времена прежних хозяев помещалось заводоуправление. Теперь на воротах было написано мелом: „Начсостав", что мы переиначили в Ноев Ковчег, где „каждой твари по паре".

Всего нас было человек шестьдесят, включая жен, дочерей и дядей военспецов. Родственники приезжали с севера подкормиться белым хлебом, сахаром и свининой. Наша компания жила дружно и спокойно, окруженная бушующими волнами революции, как семейство Ноя среди потопа.

Это продолжалось до лета того же года, когда из центра приехал политком или политрук и навел порядок — одних разогнал, других направил на фронт. Политических комиссаров тогда только что ввели в армию, но я этого не дождался — заблаговременно уехал в Ворожбу и ночью в лесу перешел линию фронта.

Среди нас был бывший гвардии поручик Жорж Ястребов, бывший корреспондент „Нового Времени", много девиц, „доктор черной магии" Гуржимайло, еще один бывший барон, один масон и другие странные личности.

Офицеры, прошедшие войну с немцами, щеголяли особенным армейским мрачно-веселым юмором. Не говорили „умереть", но „сыграть в ящик". Рассказывая как после боев на Бзуре их полк был уничтожен, говорили словами газет: „были некоторые потери", или „оказался известный процент убитыми". Они гордились тем, что случайно остались живы.

Когда среди нас появлялся новый офицер, ему за обедом неизменно задавался вопрос, странный, тревожный и непонятный: „Можете ли вы доказать, что вы не верблюд?"

Откуда взялась эта шутка, перешедшая из старой армии в новую и сохранившаяся в эмиграции? Была ли это пародия на

экзамен логики в школе прапорщиков — если там изучали логику? Или просто кто-то обратился так к какому-нибудь новоприбывшему и верблюдоподобному?

Мне тоже был задан этот вопрос и я ответил так: — Доказать ничего нельзя. Здравый смысл подсказывает, что мы здесь люди, а не верблюды. Однако, может быть мы на самом деле верблюды в Туркестане и нам снится что мы люди.

Девицы хихикнули и Гуржимайло тоже одобрительно усмехнулся. Этот чернокнижник гадал барышням на картах, а его сосед по комнате, Жорж, подслушал и подглядел, что по ночам он ведет беседы на незнакомом языке с какими-то существами, чудищами огромных размеров, прилетавшими к нему неизвестно откуда, но вероятнее всего из Тибета.

— Как вас сюда занесло? — спрашивали мы у мага.

— Да так же как и вас. Хочу переждать в Ковчеге опасный период, потом постараюсь уехать куда-нибудь подальше на теплые моря, хотя бы в Сан-Франциско. По моим расчетам революция не должна скоро закончиться.

Печи хорошо грели, в окна не дуло. В окнах, в отличие от Ноя, мы видели не океан, а замерзший Сейм, сугробы. С утра до вечера сыпал снег, то хлопьями, то мелкой крупой. Жорж садился за рояль и пел:

Очи карие, губы алые,
По ночам задорный смех,
Хороши дивчата Латвии,
Но хохлушки лучше всех!

Обеды с водкой устраивались часто, приглашались и местные барышни, школьные учительницы, библиотекарша. Они принимали нас за новую власть и намекали, что им хотелось бы перебраться в столицу, где настоящие театры, не то что в Рыльске, и можно послушать Мережковского, или как Блок с Анной Ахматовой читают стихи.

По утрам мы, красные командиры, несли службу в казармах или на плацу: обучали рекрутов воинскому строю, поворотам, перебежкам, гимнастике. Устав Петра Великого сохранялся с небольшими поправками. Учили рыть окопы на лесной опушке в промерзшей земле.

Некоторые из офицеров были очень строги с красноармейцами, так что на них поступали жалобы в красноармейский совет, откуда писались доклады в Харьков. Но начальство из дивизии отвечало, что сам Троцкий приказал вводить железную дисциплину и для этого привлечен к строительству социализма социально чуждый элемент военспецов. Впрочем бывшего капи-

тана Федорова солдаты угробили, приезжал важный комиссар и опрашивал всех, даже нас, спецов, но дело замяли.

Вспоминаю, что я в те дни по совету Гуржимайло начал читать книги по буддизму, которые брал из большой заводской библиотеки, сохранившейся от времен Терещенок.

По вечерам, под предлогом проверки постов, я уходил гулять, иногда вместе с доктором черной магии. Далеко уходить было неосторожно — наши часовые видали бандитов в кустах над Сеймом, куда они пробирались, согнувшись как медведи. Их привлекали мешки с сахаром и бидоны спирта.

Главная аллея парка. По стволам определяю, где липы, где дубы. Белые от инея ветви в вышине сплетались как церковные своды.

Дальше парк переставал притворяться, что он не лес и аллея превращалась в дорогу, выходила в поле и вела к деревне. Небо нависло темное, только над деревьями на горизонте просвечивает розовая полоса. Снег раньше отсвечивал желтизной, а тут, в сумерках становился синим.

Хаты выше окон зарылись в сугробы. Тишина, пустота, из леса не слышно дровосека. Ни прохожих, ни саней на дороге, ни собачьего лая, ни ворон. Живет ли кто в этих хатах? Или все ушли подальше от войны? Но куда податься? Ведь и на Урале война, и за Уралом, и на Кавказе.

Тишина застыла особенная, не как обычной зимой, но как если бы наступила окончательная зима — небытие. Начиная с Декабристов наши революции застывали в морозе. Так и сейчас революционное ополчение превращается в регулярную армию, народная милиция в жестокую полицию и гоголевские чиновники возвращаются на свои посты. И над всем царит Мороз, неизменный самодержец над владениями Москвы, которая слезам не верит.

„Гони религию в дверь, она вернется в окно“, поучает меня чернокнижник. „Может быть в несколько другой форме, но вернется. Белая равнина и тишина, нарушаемая потрескиванием замерзших деревьев — картина, при нынешних условиях скорее успокоительная. Она подсказывает всем нам, в том числе и Жоржу, что смерть приближается и что она не страшна.

„Жорж — храбрый молодой человек, как и весь начсостав, без страха перед судьбой, но и без немецкой дисциплины. Эта пагубная германская привычка — радостно подчиняться начальству, главная причина, почему они, а не мы под конец бывают побеждены. Мы от рождения согласны не по приказу, а добровольно идти на смерть — если это нужно. И это сильнее дисциплины. Кроме того, в глубине души мы чувствуем, хоть и не

говорим про это, что окончательной смерти нет. Это сила воды: вода точит камень, не сразу, а постепенно, зато наверняка. А камень ничего не может поделать с водой.

„Когда вокруг война, голод, холод, десятки миллионов смертей, — религиозный инстинкт начинает склоняться к восточной мудрости. Почему? Потому что так легче принять смерть. Как бы человек ни спорил, все равно жизнь стремится, после своего цветения, к пустоте отдыха и сна. Хочет вернуться в туман, из которого вышла. Потом начнется очередное пробуждение. Можешь уехать на край света, даже на край Млечного Пути, ничего другого там не найдешь.

„Сейчас мы спим. Нам не снится что мы верблюды, но что мы идем по снегу и что наступает ночь. Вокруг нас, за белыми кустами скрываются первобытные люди в звериных шкурах, с копьями и винтовочными обрезами.

„Человек целится, спускает курок и вдруг вы просыпаетесь. Но это не значит что больше снегов не будет. Новое младенчество наступит для вас, уважаемый Николай Дмитриевич, засим юность, школьные годы, борьба за существование. И другая гражданская война, очень похожая на нынешнюю.

„Анекдоты наших друзей из Ковчега, их военные воспоминания ни о чем другом не говорят: туманы небытия сменяются туманами так называемой жизни. В сущности все это почти одинаковые состояния, которые на востоке определяли понятием „успокоение в тревоге“ — у нас такого слова нет. Иллюзия жизни и войны каждые сутки переходит в иллюзию успокоения. И заметьте, это не грустно, скорее радостно, как всякая правда, если ее принимать не споря“.

Так принимают зиму эти деревья под инеем. Смерть — снова жизнь, снова смерть, снова жизнь. Нам тоже ничто не угрожает — ни бандиты, ни комиссары, ни пулеметы. Ведь все равно, даже если мы благополучно переживем и эту войну и будем о ней нашим внукам рассказывать, какая в сущности разница? Я хочу сказать, какие могут быть тревоги для рыб, плывущих в Океане вечности?

ИЗ ДНЕВНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ

Я возвращался верхом на моей кобыле, которую звали Вандея. Это была очень умная лошадь: среднего возраста,она могла легко спускаться в овраг по самым отвесным тропинкам и не боялась переплывать не очень широкую реку.

Сейчас Вандея шла шагом вдоль главной улицы села, где мой полк расположился для ночлега.

Неожиданно справа, очень близко, за крышами на холме появилась колокольня — огромная, белая, готического стиля, которую я утром не заметил. В то ли село я попал куда следовало? Штаб полка должен был находиться на окраине, но сейчас его там не оказалось.

Еду дальше и опять вокруг поля. Да, значит это было не то село. Недалеко впереди виднелось другое и я доверился Вандее, которая сама перешла на рысь, что всегда случалось, когда приближались к нашей стоянке.

Начинался вечер. Другое село скрылось за курганом, а дальше опять оказалась пустая равнина. На горизонте виднелись колокольни, но сколько я ни всматривался, не мог отыскать той, около которой мы расположились в то утро.

Впереди на дорогу откуда-то вышла женщина лет сорока. Когда мы поравнялись с ней, Вандея сама перешла с рыси на шаг.

— Не знаете ли вы, где стоят солдаты? спрашиваю я. Она отвечает, что как раз идет в то село, оно очень близко, почти что рядом, но дороги здесь так запутаны среди холмов и курганов, что сам я не найду и пусть еду за ней. Действительно, почти тотчас же мы остановились около дома. Женщина сказала:

— Здесь наш дом. Я позову мою мать.

Из ворот вышла старая крестьянка с клюкой. Спрашиваю, не это ли то селение, которое я ищу — но не могу припомнить как оно называется.

— Нет, это Эдельвайс, вам здесь нечего делать.

В этой части Северной Таврии в те времена повсюду встречались „колонисты", как их называли переселившиеся из Баварии и других германских стран (иногда из Швейцарии). Они хорошо относились к Белым. Заметив что она не свободно говорит по-русски, перехожу на немецкий:

— Что за солдаты идут там?

— Это пулеметчики, красноармейцы. Я увидела в окно, что вы заблудились и послала дочь вывести вас на дорогу.

— Большевики? Но куда же ваша дочь меня завела? Ведь они меня расстреляют!

— Не волнуйтесь, они вас не заметят, как не заметила вас их застава, когда вы въезжали сюда. Но ведь и вы не увидели этого села. Надо думать, что вы все очень устали и спите.

— Но сейчас мне необходимо как можно скорее попасть в Наррвонунг (вспомнил название), в этом мое спасение. Скажите скорей, как туда проехать, и можно ли не по дороге, а огородами.

— Огородами можно, только вам нельзя в Наррвонунг, который тоже только что занят Красными. Сейчас оттуда прибежал мой внук. Не волнуйся, сынок, я покажу тропу через лес.

Она сделала знак следовать за ней. Мы прошли через двор с колодцем и огромными амбарами и вышли в огород. Все казалось подозрительно странным. Правда ли меня не заметили, или только притворяются? Или не разглядели что я из чужого войска? В соседнем переулке ясно виднелись в окне избы силуэты солдат в буденовских головных уборах.

По ту сторону забора были высокие заросли боярышника. Я решил, пока не поздно, пустить Вандею в галоп, перескочить через плетень и скрыться в тех кустах, но моя послушная кобыла на этот раз заупрямилась и не пошла. Бабка опять повторила, что опасности нет, только не надо обращать внимание на тех людей: — Будто их не существует. Они сами по себе, и ты тоже.

Она отворила другие ворота и остановилась на краю глубокого песчанистого обрыва.

— Здесь я тебя оставлю, сказала бабка. Спускайся туда, там будет мост, потом все прямо по лесу. Все будет благополучно, а главное — *ведь ногу-то не отрезали.*

Некогда было спрашивать, что все это означало. Вандея без понукания, как заведенная машина, села на задние ноги и заскользила куда-то в глубину. Я катился будто в салазаках по сыпучему песку, а моя кобылица тормозила, взрывая песок передними ногами.

Мост. За ним дамба, дальше тропа убегает в заколдованный лес. Теперь слева канал, справа между стволами блестят серебристые пруды, в них отражается луна.

Чем темнее было в лесу, тем спокойнее становилось на душе. Будто все опасности миновали навсегда. Далеко позади по временам трещала пулеметная очередь, но это меня не касалось.

Поднялся ветер — я его не чувствовал, видел только как сосны и ели замахали косматыми ветками. Потом надвинулись тучи и закрыли луну. Все шевелилось — деревья, светляки в траве, облака наверху, водоросли в пруду. Отдаленная артиллерийская пальба доносилась с разных сторон. Заколдованный лес стоял на страже, оберегая всадника и его неутомимую Сивку-бурку-вещую-каурку (последнее слово — с греческого „калуер", монах).

Дивная мировая Система! Таинственные вибрации вечной жизни! О, эти звезды и эта земля! На людях, в полку, притворяюсь таким же шутником, как большинство из них, что бы никто не заметил как схожу с ума от счастья жизни.

Да, но чему я так обрадовался? Не тому ли, что избежал расстрела? Как же не вспомнил о друзьях, которых сейчас расстреливают из пулеметов. Может быть, в эту ночь мы проиграли войну. Наши дивизии одна за другой попали в окружение. Этот лес, вероятно, окружен со всех сторон. И даже если нет, если я найду свой полк, как объяснить офицерам мое исчезновение? и кто поверит, что я не виноват в дезертирстве — ведь сам не понимаю, что со мной произошло.

Луна то появлялась, то исчезала. Вглядевшись, увидел, что нахожусь посреди поляны и что тропа тут раздваивается. Размундштучив Вандею, отпускаю подпруги. Теперь она будет пастись около меня и не уйдет далеко.

Ложусь в траву и сразу засыпаю. Приснилось что Гудим-Левкович послал меня к Шатилову с какой-то чрезвычайно срочной бумагой, и сперва все идет хорошо, но вдруг начинается кошмарный сон-во-сне: будто по дороге задремал в седле, смутно помню как скатился в траву, зарылся в теплый стог сена и когда проснулся, была уже ночь. Что теперь делать? Ничего не остается, как застрелиться. Скорее, ни о чем не думать, освободиться от всех кошмаров жизни, от всех страхов, всех шуток и расстрелов. Исполнить, наконец, последний долг оскандалившегося офицера: самовольно переступить за черту.

Не помню, успел ли я спустить курок или на секунду задержался, но только всё предыдущее внезапно исчезло и наступил солнечный день. Лежу в белой кровати, светлая комната, окно раскрыто. Догадываюсь что за окном Ялта и море. Сестра встает с кресла, приоткрывает дверь и зовет кого-то. Приходит доктор Дуранте, хирург в белом халате.

Вспоминаю, что он сказал — но когда это было? Может быть совсем недавно, не сегодня ли утром? „Ваша температура

вводила нас в заблуждение, мы боялись, что началось нагноение, гангрена. Но я надеюсь, что это просто крымская малярия и решаюсь на легкую операцию — вынуть пулю из колена. Но если обнаружится нагноение, придется ампутировать. Напишите бумагу, что согласны на ампутацию, если другого выхода нет". И я, не унывающий кавалерист, сразу написал что требовалось, но еще добавил: лучше жить с одной ногой, чем умереть с двумя.

Итак, операция кончилась и нога осталась более или менее целой.

— Ну, как дела? говорит Дуранте. Голова кружится?

— Голова нет, острю я, а вы, доктор, кружитесь.

Дуранте не понимает или думает, что я болтаю в бреду. Он говорит:

— Это ничего. Главное — ногу сохранили.

— А хромать я буду?

— Еще чего захотел! Лучше со своей ногой хромать чем с протезом.

ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ ИВАНОВ

Многие из нас помнят этого замечательного человека. Он умер в пятидесятых годах, когда ему было под 80 лет.

После него остались две книги. Первая — „Смирение во Христе“, в ней 158 страниц (*). Эта книга начинается так: „Говорить о смирении в наше время — это говорить о том, чего нет“.

Вторая книга — „Тайна Святых или введение в Апокалипсис“, издана по рекомендации Бердяева тоже в YMCA-PRESS, в 1949 году. В ней на шестистах страницах П. Иванов развивает тему смирения во Христе, то, чего человеку нельзя заслужить без содействия благодати Св. Духа. В связи с этим говорится о многом, главным образом об истории Церквей, особенно о православии. Историю Церкви автор не отделяет от истории всеобщей. Главное лицо в истории России, оправдание нашего прошлого и предначертающее будущее, это Св. Серафим Саровский.

Петр Иванов происходил из богатой московской семьи, но в Париже в эмиграции жил очень бедно. Ему помогали родственники. Обычно его день проходил в посещении больных или тех русских семейств, где муж с женой или дети с родителями не дружно живут. Если в больничной палате не оказывалось русских, он присаживался к французам, которых никто не навещал, и на своем очень приблизительном французском языке разговаривал, шутил или старался осторожно объяснить, почему не следует бояться смерти. Он также пытался получить разрешение на посещение тюрем, но этого не добился.

Тайна святых заключается в том, о чем сказал Св. Серафим молодому Мотовилову: нигде и ни от кого душа не может научиться истине, т. е. жизни во Христе, без помощи благодати Святого Духа. („Тайна святых“, стр. 138). Ни церковь, ни само Священное Писание не преобразуют человека, если он не сумел „стяжать Духа Святого“ — после чего навсегда освободился от духа уныния.

(*) Издание **YMCA-PRESS**, Париж 1925.

Читая Евангелие или стоя в церкви человек не всегда пребывает в благодати. Безошибочный признак этого состояния, если от уныния не осталось и следа, а из глаз человека и от всего облика излучается радость и веселие. Такой человек принимает с благодарностью дарованную ему жизнь. Хоть он и знает о существовании зла, но он больше ощущает конечную победу добра и не слишком верит в ад.

Современник Св. Серафима, московский митрополит Филарет не говорил про тайну святых, он больше проповедовал церковную дисциплину. Его катехизис, который мы должны были зазубривать в гимназиях, подготовлял маловеров, оторванных от Церкви. Благодать для нас заменилась заучиванием правил.

Величайшим откровением, полученным Россией, Петр Иванов считал беседу Св. Серафима с молодым помещиком Мотовиловым. Мотовилов сразу записал то, что он услышал, но эта запись пролежала на чердаке 75 лет, до 1903 г. Лишь когда „пришло время", эта рукопись как бы случайно была обнаружена и опубликована в тот самый год, когда Серафим был причислен к лику святых. Это причисление совершилось по настоянию Императора Николая II, вопреки сопротивлению Святейшего Синоода („Тайна Святых", стр. 16). „Верховная государственная власть, пишет Иванов, в лице Царя, как бы каясь в своем двухсотлетнем мертвенном воздействии на Церковь, решительно стояла за канонизацию. Настойчивость Царя заставила Синод уступить" (стр. 137).

Сейчас мотовиловскую запись многие читают в России, где она расходится в сотнях тысяч копий. Даже Горький счел нужным полемизировать с Мотовиловым: выражение „стяжать" (Духа) по мнению Горького „выдает кулацкий уклон". Но Св. Серафим понимал это слово не как корыстолюбивое накапливание добра, а в смысле добиваться чего-нибудь с усилием.

Вот цитата из записи Мотовилова: „Господь открыл мне, — сказал великий старец, — что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем смысл жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно спрашивали. Но никто не сказал вам о том определенно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божьи, твори добро — вот тебе и цель жизни христианской... Но они не так говорили, как следовало. Вот я, убогий, Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколь ни хороши они сами по себе, однако, не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимым средством для достижения ее. Истинная же цель состоит в стяжании Духа Святого Божьего... Так-то, ваше боголюбие".

П. К. Иванов в своих разговорах с нами часто возвращался к этому. „Даже если сталинцы уничтожат все церкви и монастыри, говорил он, зародыши радости и любви — а одно не бывает без другого — не могут быть уничтожены в сердцах. Вот и мы здесь строим сегодня церковь в Кламаре. Даже если наше строительство окажется разрушенным завтра, не надо жалеть труда. Ведь мы не ради архитектуры строим. Здания, сады, книги погибнут, но они только средство для стяжания Духа. Через наши труды входят духовные силы в сердца.

„И дело не в том, чтобы переспорить ленинцев, у тех свои правила, только от них не исходит ни света, ни радости — я многих из тех вождей слыхал, пока не оглох. Победа останется не за теми, но не дело размышлять о временах и сроках.

„Все должны действовать по мере сил и возможностей и сознавать для чего мы живем, т. е. что живем мы для других. Строить храмы надо внутри себя, в сердце. Принять сердцем всю историю людей, которая записана в Евангелии, от Рождества до Пасхи, потом до сошествия Святого Духа, понять как Святой Дух проявлялся в Деяниях Апостолов и после, до нынешнего дня. Все должно быть не только понято, а главное осуществлено. Все люди для тебя и братья и сестры, и матери и отцы. Как когда ты был младенцем. Ведь мы никого не поучаем, избегаем делать это словами, но от каждого стараемся получить все что для нас самих нужно„.

Еще до того как Мотовилову было открыто главное, Св. Серафим однажды как бы задумался и, записывает Мотовилов, „везапно спросил меня: — А что вы сделали с девушкой, дочерью вашего дворового человека, что у вас жила?

„Беспощадный вопрос страшного суда. В этот день Мотовилов пришел к старцу чтобы посоветоваться насчет своей предполагаемой женитьбы на девице своего круга.

„Я так и обмер, — продолжает Мотовилов, — испугавшись и предчувствуя свое осуждение. Огонь страшного суда, вызванный прямотою вопроса, коснулся сердца обидчика. Святой продолжал: — Церковь учит, кто возьмет девушку обязан жениться, а если она не пожелает (но какая девушка-рабыня, имеющая от своего господина двух детей, не пожелает вступить с ним в законный брак? Здесь святой прикрывает действительность, чтобы успокоить сердце виновника. „Тайна Святых“, стр. 550), „Вы обязаны устроить ее жизнь настолько безбедно, чтобы она потом по одной тягости бедности не могла впасть в новые грехи и всегда благодарила бы Бога“.

Мотовилов женился на ней и был ей верен до конца жизни.

Все главное было открыто Мотовилову в одну зимнюю ночь, кажется в 1831 г., (Св. Серафим умер 2-го января 1833 г.)

Старец сидел на пне, в лесу, посреди поляны. Луны не было — сыпал снег. Мотовилов спросил:

— Каким же образом узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святого?

— Это, ваше боголюбие, очень просто. Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою. Что же ты не смотришь на меня?

— Не могу смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыплются. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли...

— Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь сами так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божиего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть... Что же еще вы чувствуете, ваше боголюбие?

Я отвечал: — Теплоту необыкновенную.

— Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под ногами снег, и на нас больше вершка снег, и сверху крупа падает. Какая же может быть тут теплота?

Я ответил: — А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку и когда из нее столбом пар валит...

— И запах, — спросил он меня, — такой же, как из бани?

— Нет, — отвечал я, — на земле нет ничего подобного этому благоуханию. Когда еще при жизни матушки моей я любил танцевать и ездил на балы и танцовальные вечера, то матушка моя опрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в лучших модных магазинах Казани, но те духи не издают такого благоухания... („Преподобный Серафим Саровский, житье и беседа с Мотовиловым", изд. „Вечное", Париж, 1953).

В конце этой беседы, Святой добавил: — Что же касается до того, батюшка, что я монах, а вы мирской человек, то об этом думать нечего: у Бога взыскуется правая вера в Него и Сына Его Единородного".

П. К. Иванов так заканчивает свою книгу („Тайна Святых", стр. 601):

„Зачем был послан в русскую Церковь великий Посланник Божий? Чтобы в мрачные времена явить образ живого Христа. Чтобы потом, когда все стало видимо рушиться, все могли бы созерцать видимую заботу Христа о Церкви.

Но и еще нечто было в явлении Св. Серафима в русскую Церковь. Где-то в записях уцелели его слова: Я еще воскресну. И разве теперь мы не видим, что он воскресает и не в малых делах исцелений, а в своей проповеди о Духе Святом?

Св. Серафим воскресает в воскресающей русской Церкви.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛУГ

„Чтоб полной грудью вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит“.

О. Мандельштам

Тогда, в Подмосковье, казалось, что эта поляна где-то далеко, на самом же деле она была рядом с нашим домом, в самом начале парка.

Высокие травы уже кое-где скошены. В разных местах возвышаются огромные темные сосны. Их не больше десяти и они очень стары.

Сидя под одной из них на сене я реву во весь голос, реву белугой — до сих пор не знаю, что это значит, но так говорила Матрена Федоровна, няня, которая перед тем, чем-то меня горько обидела.

Но вот приковылял старый рыжий пес Баян и лизнул мне нос. После чего скрылся за кустами, но на прощание обернулся, дружески улыбнулся глзами — теперь, когда вспоминаю, я понял что он хотел сказать: он приказал мне долго жить — „резвись еще на лугу, а меня тянет в Большой Лес“.

Однако и тогда я что-то сообразил и спросил няню: — Зачем Баян простился со мной? Он больше не вернется?

— Может быть еще вернется, но в чем дело? Будто у нас мало собак!

Однако вечером Баян опять появился около дома и я побежал его обнять. Няня хмурилась и ничего не сказала, она знала, что скоро он опять уйдет на своих дрожащих лапах, уже окончательно. Он протянет ноги в том укромном месте, которое приготовил в эти дни. Няня понимала всех животных — лошадей, коров, даже козу.

Впоследствии я стал брать на Луг книгу Горация, которого мог читать в оригинале. Гораций любил жизнь и доверял ей. В нем я открыл главного предшественника Пушкина.

Потом пришлось надолго расстаться с волшебными лугами — там где прошла война их не оставалось, их перерыли окопами, перепахали снарядами, превратили в пустыри или болота.

Но вот война кончилась и я в Константинополе. Царство Марса сменилось царством Венеры. Какое лучше?

Улица Пера, русская посольская церковь. Баронесса Врангель стоит сзади в углу. Я рассчитываю что она заметит, как набожно я крещусь и становлюсь на колени, чаще чем положено.

Передо мной стоит молодая пара — красивая Агния Наконечник со своим английским лейтенантом. Он спрашивает вполголоса, скоро ли кончится служба. Агния извиняющимся шепотом обещает что скоро. Я вмешиваюсь и объясняю, что даже литургия оглашенных еще не кончилась и советую им пойти в кафе и вернуться через полчаса. Проталкиваясь к выходу Агния успевает мне шепнуть, что вечером у них бридж, будет корнет Борк, Люба и, конечно мистер Хопкинс. Я злюсь, догоняю их на церковном дворе и говорю по-русски:

Постыдились бы устраивать ваши махинации, хотя бы в такой праздник!

— Какие такие комбинации?

— Обычные женские хитросплетения.

— Совершенно сумасшедший!

Дальнейшее я не слышу, но догадываюсь что она говорит за моей спиной: „Этот вчера проповедывал нам „Войну и Мир“, а сам не заметил, что я — Наташа Ростова! Нет, только англичане настоящие джентльмены, а наши — сплошь хамы“.

Русский ресторан под вывеской „Вяземский Пряник“. Подвыпившая компания вступает в пререкания с кельнершей:

— Мадам, мы заказали борщ и ждем уже двадцать минут! И еще скажите, пожалуйста, почему у вас выражение лица как у устрицы?

— Нахал и дурак! Разве вы не видите, что я, может быть, грузинская княжна! Погодите, мой жених вызовет вас на дуэль и застрелит из пистолета, как собаку!

Компания не унывает и предлагает княжне не сердиться и в знак примирения выпить с ними. Та надулась, подумала и, махнув рукой, присела за стол: стоит ли ссориться с клиентами из-за пустяков? К тому же все слышали, думает она, как здорово я отбрила этих подлецов. Весь „Вяземский Пряник“ хохочет над ними, даже мрачный хорунжий Чернокнижников.

Я тоже смеюсь, но мне стыдно, чем я лучше этих девиц и их кавалеров? Иду вниз к Золотому Рогу, целая толпа ждет у пристани. Садимся на катер и переплываем Босфор. В тот год турки еще носили фески, турчанки были в чадрах.

Берег Азии. Скутари. Поднимаюсь по переулкам и лестницам на загородный холм, который называется „гора Бюльгурлу".

Сверху вид на Принцевы острова в Мраморном море, справа кладбище, вдали купола и минареты Стамбула. Райский пейзаж, но не это меня притягивало, а весенняя трава поляны и несколько сосен — их сто лет назад рисовал Тернер.

Опять, как когда-то, ложусь под сосну. Нирвана это угашение мыслей, но не сон. К вечеру наступит *угашение угашения* или возвращение в мир. Это двойное состояние — отрыв от мира и возвращение в него — похоже на купание в море: человек качается на волнах.

Младенец сперва воображает что его живая душа выброшена из великого Единства, он пугается. Но среди волн или на волшебной луговине испуг проходит, сменяясь уверенностью, что я не только подлежащий уничтожению, но одновременно — все великое Единство вселенной. Это еще не рай, но высший круг чистилища нашей жизни на земле, предвкушение райского блаженства.

Я не смог закрепиться ни в одном из трех Римов, ни в Москве, ни в Царьграде, ни в первом Риме. В настоящем Риме я не очень искал работу, хотя деньги приходили к концу. С утра уходил,как Гораций, бродить по Форуму. Там в те годы велись раскопки. Разбитые колонны укладывались рядами на песке, кирпичная пыль застыла в воздухе. Форум как пустырь в подземельи, много ниже современных улиц вокруг. Можно ли все это привести в порядок, да и стоит ли?

Вот красная стена античного цемента — замешанного на морской воде. Это то, что осталось от храма Цезаря и Венеры. Бродят туристы, некоторые стараются незаметно от сторожей спрятать в карман осколки мрамора. Храм Весталок. На холме возвышается Капитолий. Древние ступени поднимаются на другой холм, на доске надпись углем: „monte Palatino".

Там наверху снова тишина и одиночество. Сосны, трава и дом. Это дом Ливии, жены Августа (недавно обнаружили, что это скромный дворец самого Августа).

Среди этих сосен писал когда-то Гораций.

Его стихи описывают то, что он видел вокруг. В этом он самый современный нам из древних поэтов. Это был поэт „общих мест", мудрость жизни для него состояла в здравом смысле. Он научился вглядываться в себя, а значит и во все остальное.

Корни жизни черпают свою силу в том, что не поддается объяснению. Ты не можешь приблизиться к той глубине, из которой вышла земля, вода и воздух, но и удалиться от нее ты не можешь. Без имени, эта глубина — начало вселенной. С именем она Дева и Мать всему живущему.

Эта та мистическая Весталка, родоначальница вселенной, про которую Гораций сказал в своем „Памятнике“: „И славен буду я, доколе в Капитолий с безмолвной Девою верховный входит жрец“ — т. е. всегда.

Пушкин перевел это место иначе: „Доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит“. Смысл тот же.

Вот два отрывка из од Горация в переводах Фета. Стих Пушкина, конечно, чище, музыкальнее, но Фет старался не отходить от подлинника.

Послание к Деллию

Покой не забывай душевный сохранять
В минуты трудные, но и в часы веселий.
Неясных скорбных дум старайся избегать:
Вед: ты же смертен, Деллий!
Хоть целый век живи печален и угрюм,
Но праздник радостью встречай нелицемерной
И, лежа на лугу, гони приливы дум
Бодрящей влагою Фалерна.
Отцовские луга оставишь ты и дом,
Поляны, где весной веселый Тибр желтеет,
Все бросишь навсегда, и дедовским добром
Другой наследник завладеет...

Имя поэта связано с этими местами. Вот я вижу перед собой коротенького, плотного человека, более толстого, чем прилично поэту. Вот он подходит своею, немного развалистой походкой. Люди оборачиваются и смотрят ему вслед. Это Квинт Гораций Флакк, внук раба, может быть серба (м. б. из Горицы), сейчас он фаворит Мецената и частый посетитель скромного дворца Августа. Он учит: „Прежде чем сядешь писать, разучись неправильно видеть“. Почти все видят неправильно, но поэт не имеет права искажать действительность.

Он родился в 65 году и умер в 8-м до Р. Х., на границе Апулии. В результате гражданской войны никогда не возвращался в родные места. После убийства Юлия Цезаря, сражался в армии Брута, против Августа и Мецената, которые потом стали его друзьями.

Даже в наше время всякий, прочитавший описание Горация и посетивший затем скалистую Ахеронтию, темные леса Бантии или плодородные пастбища Ферентской долины, может убедиться в том, как верно сумел глаз мальчика охватить и запомнить все отличительные черты этой местности. В Оде III рассказан случай из детства поэта. Однажды он убежал от своей няни и заблудился на горе Вультура. После долгих поисков его

нашли спящим в лесу, он был покрыт лавровыми листьями и миртовыми ветвями, которые набросали на него голуби.

...И на Вультуре, близ полей
Ребенка вдруг ко сну склонило,
А стадо вещих голубей
Ветвями мальчика укрыло.
Кто Ахеронтскою владел
Скалой — иль Бантии лесами,
Иль ферентийский земледел —
Еще считают чудесами:
Что змей меня не уязвил,
Что не унес медведь спросонок,
И лавром лес меня прикрыл
И Богом избран был ребенок.

Около Парижа тоже имеется заколдованная поляна — в большом саду Трианона, справа от малого сада, за каменными домами сторожей, там где начинаются высокие сосны.

ГРОБНИЦЫ ЭТРУСКОВ В ТАРКВИНИИ

В музей Тарквинии перенесли из могил скульптурные изображения тех, кого похоронили 2500 лет назад.

Если это мужчина, в его руке священная *патера* (или, по-латыни, *мондиум*) — символ первичного мироздания: круглое блюдо с пуговицей в центре — зародыш неба и земли. Это также кровяная плазма живой ячейки. Ее сердцевина символизирует еще бессмертную душу покойника, и еще Божественный фон бытия, вне времени и пространства.

Патера-мондиум продолжает свою жизнь, неподвластную смерти в каждом из нас и в нераздельном от нас окружающем мире. Душа огня и солнца, земли, воды охраняют жизнь без начала и конца. Каждый человек, будь то старик или ребенок, держит свою патеру, свой огонь, таинственную искру, вечно творящий космический электрон.

В таком виде тайна бессмертия открылась этруским жрецам — „лукомонам" — с доисторических времен, может быть, с тех пор, как люди научились из камня высекать огонь.

В старых гробницах Тарквинии (600 лет до Р. Х.) большей частью находились статуи „лукомонов", или „озаренных", „иллюминатов", которые знали секрет жизни и смерти. Они же были вожди, судьи, хранители знания и огня. Более поздние статуи держат не патеру, а свиток законов или меч. Это значит, что религиозное чувство угасает, и место магов заняли законники и воители.

Когда римляне окончательно покорили Этрурию, озаренных заменили позитивисты чиновники, военные, купцы. Духовные корни народа оказались подточенными, и спустя несколько поколений весь этрусский народ исчез, даже языка не сохранилось. Римская дисциплина угасила и другие народы — Грецию, Египет, хоть и не так основательно, как Этрурию.

О мудрости лукомонов мы стараемся догадаться из той живописи, которая осталась в гробницах.

Большое поле в окрестностях Тарквинии. Кое-где недавно построенные кирпичные шалаши, вроде тех, где крестьяне складывают грабли, лопаты и бороны — только здесь под крышу идет электрический провод. Поле, холмы, вдали светится море. На всем отблеск неземного сияния. Проводник отпирает ключом дверь, под потолком загорается лампа. В подземелье ведут 20-25 крутых ступеней. Спускаемся в холод.

Квадратная усыпальница. Статуи перенесли в музей, но осталась роспись на стенах, на потолке, на подножии саркофага. Множество различных изображений.

Вот сцена пира в загробном царстве. Глава семьи полулежит, упираясь на локоть, рядом с ним женщина, украшенная драгоценностями. Одну руку она положила на грудь мужа, а другой подносит ему гирлянду цветов, свой дар женственности. Сзади стоит голый музыкант с флейтой, другой служитель льет вино в черно-красную амфору. Молодые девушки вдали играют на свирелях — это была их обязанность на похоронах. Дети, слуги, рабы несут цветы, или утку, или рыбу. Здесь не траурное шествие, а радостный праздник, где сам покойник пирует среди своих близких.

Место упокоения для Этрусков была некая страна живых, все овеяно какой-то глубокой, задумчивой радостью. Ничего не кончилось, все притаилось в ожидании новой жизни на земле или других краях. Жизнь на земле была настолько сладостна, что и то, что последует за ней, не может обернуться унынием.



Пламя „патеры" — это утверждение Божественной жизни без начала, без конца, ритмический экстаз в движениях танцующих музыкантов. Во всем бьется и переливает через край благодатное озарение лукомонов. Если музыканты и танцоры, может быть и живописец, изобразивший все это, были рабами, это не значит что для них не нашлось места среди вечного праздника. Когда рабы умирали, их тела не выбрасывали в клоаку, как в Риме, но сжигали — урны с их прахом поставлены вокруг центрального мавзолея.

Патриарх, покрытый пурпуром, является общим отцом своего дома, общим „модиумом". Цари древнего Рима, все 7 царей от Ромула до Тарквиния Гордого, которые тоже были Этрусками, появлялись перед народом с лицами, окрашенными красной охрой, как божества. Об этом осудительно упоминается в Библии, впрочем, не об Этрусках, а о „сынах Ассура": „Оголива (куртизанка из Иерусалима) пристрастилась к сынам Ассуровым,

пышно одетым всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам... Она еще умножила грехи свои, потому что, увидевши вырезанных на стене мужчин, красные изображения Халдеев, опоясанных по чреслам поясом военачальников... она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов (Иезекииль, гл. 23, ст. 12-16).

Но „халдейский“ летописец иначе относится к мистерии такой живописи: „Никакая часть нашей души и тела не существует в позоре, всякий орган заключает в себе божественное начало.Пусть душа не перестает петь, колени прыгать и скакать, и сердце биться: потому что все по-своему прославляет Божественное целое“.

После грехопадения Адам стал анализировать. Когда начинают умом, не сердцем проникать, размышлять о тайне жизни, жизнь раздробляется на части, тускнеет, замирает в обманной логике человеческого познания.

Лукомоны не могли передать всем всю глубину тайны, но весь народ получал от них уверенность — может быть, смутную — догадку о бессмертии души. И все знали, что первый долг человека есть Вера, хвала жизни без тоски и страха.



Перейдем к другим гробницам. Испарения поднимаются от великой Матери-земли, как дыхание выходит из ноздрей кита. Пар идет в синее небо, сливается с белыми облаками, возвращается дождем, оплодотворяет землю и даже океан, откуда непрерывно рождается прежняя и новая жизнь. Внутренность земли горит, как печень огромного животного. Каждое дерево, озеро, гора, ручей несут в своей глубине свою „патеру“, сознание, не отличающееся от общего. Зачем так устроено? Художник не мудрец, он не знает, но догадывается, что это для *умножения радости*.

Лукомоны не навязывали никому никаких догматов. Они не словами, а примером подсказывали: живите и радуйтесь, пока римские легионы не захватили вас в плен. Потому что это может случиться и будет случаться, пока существует разделение между народами поэзии и народами дисциплины. Тогда на престол лукомонов сядут неподходящие князья с их лже-наукой, гласящей что смерть всех побеждает и ее не переспорить. Мы знаем теперь, что это будет наука Цезаря, Наполеона, Ленина и других обманщиков. Польется кровь, люди разделятся на начальников и рабов. Религии бессмертия забудутся, новые хозяева возненавидят религию, это для них самый опасный враг.

В гробницах Тарквинии мы находим простое видение жизни, инстинктом понятное земледельцам, какими были Этруски. Лукомоны, конечно, получали от своих стариков особое посвящение, но художники, авторы этих фресок были, надо полагать, ремесленниками (в отличие от художников и скульпторов Греции и Египта). Может быть те, кто украшал гробницы Тарквинии, принадлежали к одной из латинских ветвей тогдашней Италии. Лукомоны снисходительно смотрели — мы находим порой чуть юмористическое выражение на портретах — будто эти мудрецы думали: когда-нибудь потомки откроют эти переливающие золотом изображения и сообразят, что́ притаилось за этими лучами: чудо пламенного волнения, побеждающего смерть.

...Голый человек под вечерним солнцем переплывает на ладье широкую реку. В воздухе носятся птицы, в воде играют рыбы. Старый человек ныряет в воду и выходит на берег — омоложенным. Или вот дельфин, мудрое существо, так странно родственное человеку, ушел в глубь океана и вышел на песок в обличии человеческого младенца...

„У них не было храмов, но они жили в согласии с целой вселенной, в гармонии со звездами, с животными и растениями“ (Достоевский, „Сон смешного человека“). И если не все Этруски были такими, художники, которые разукрасили тысячи гробниц (каждый год откапываются новые) — такими были.

СРЕДИ МЕЧЕЙ

В октябре 1917 года по вечерам, в осенней полумгле, я возвращался в родительский дом из „ГУГША“. Гугш — это Главное Управление Генерального Штаба. Вход с Невского, часть окон выходила на Дворцовую площадь. Начальник отдела связи с союзными миссиями был полковник Мочульский. Моя работа состояла в переводе каких-то телепередач и еще в разговорах о поэзии с молодыми лейтенантами — французом и англичанином.

Помню, как француз сказал, что Проспер Мериме это „мерд“, а нужно читать Стефана Малларме. Англичанин рекомендовал поэтов эпохи королевы Елизаветы (16 и начало 17 вв.), за что я ему по сей день благодарен.

23-го, в понедельник утром мне позвонил Прушинский из отдела связи, что начались крупные беспорядки, между Генштабом и Мариинским театром, стрельба во всю и придется некоторе время переждать, пока меня не вызовут. Однако, на Литейном, куда я вышел посмотреть что происходит, было обычное будничное утро, канцеляристы, не торопясь, шли в свои учреждения, можно было взять извозчика. Если бы на Невском появился Гоголь, он бы ничего не заметил. Впрочем, перед Александринским театром бронзовая Екатерина, грузная как колокол, держала красный флаг.

В Таврическом саду было пусто. На аллею, справа от пруда, тихо падали рыжие кленовые листья. Веселый молодой рабочий, пробегая в направлении Смольного, шутливо хлопнул меня по спине и сказал: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! На что я ответил санскритской мантрой, упирая на каждый слог: „Ом — мани — падме — хум“, что кажется означает: „Честь и слава драгоценному лотосу — Будде“.

Две сороки, черно-белые с длинными хвостами что-то искали под кустами. С детских лет я знал, что это к морозу — в начале зимы сороки прилетают из большого леса на финской границе поближе к людям и домам, но в эту осень люди не бросали им хлебных корок.

Заметно было, что птицы встревожены не менее людей — всех пугала пулеметная стрельба, которая доносилась откуда-то с окраин и с каждым днем приближалась к центральным улицам.

Я вошел в оранжерею, где было тепло, и где я знал садовника. Со мной были две книги: что-то из Упанишад, подарок англичанина, и афоризмы Рильке, который тогда еще был жив и вдумывался в „борьбу классов".

„Человек из народа, — писал Рильке, — друг мой! Послушай, это совсем короткая история. Две одинокие души встретились в этом мире. Одна — безразлично, была ли она из богатых или из бедных — стала жаловаться другой и просила о помощи. Другая не могла ничем помочь и только прошептала: И для меня это непонятная история, что я могу тебе объяснить?"

Это означает, размышлял я, сидя на табурете под тропическим деревом, что — согласно с Евангелием, „Бедных всегда будете иметь с собою". И никакие революции не смогут изменить проклятый закон жизни на земле: жизнь это война, борьба за существование. Об этом говорится также в притче о талантах.

Марксисты, когда они не совсем глупы, об этом догадываются, и сам Маркс не представлял себе, какая жизнь будет при коммунизме.

В те дни я пребывал в полусне и больше помню свои сновидения, чем жизнь наяву. Наяву начиналась гражданская война. В смутном сне было то же самое, причем не в символических картинах, а в некоем сверх-реальном плане. В доме у нас все с утра читали Библию, как писал поэт Михаил Кузьмин:

„...А мы, как Меньшиков в Березове,
Читаем Библию и ждем."

Мой дед увлекался Апокалипсисом, я же, из духа противоречия, уверял, что это для меня слишком просто и ясно, прозрачно, очевидно, понятно. И подсовывал ему книги об индуизме, а бабушке тоже, — но для несовершеннолетних, „Светоч над Азией". И еще сочинения нашей дальней родственницы, Елены Павловны Блаватской:

„В иные периоды Индия вдруг оказывается одержима религиозной энергией и простирает свое влияние на всю Азию, как сейчас на Европу. Сейчас европейские народы один за другим теряют свой религиозный инстинкт, они стали талантливыми техниками, механиками, коммерсантами, что тоже необходимо, но не дает понимания о жизни в целом. Надо помнить, что поиски Бога и правды обладают необычайной взрывчатой силой,

эта энергия уничтожила языческий Рим и Афины, превратив Рим в католицизм, Афины в православие, а в наши дни религиозная энергия готовится дать бой воинственному социализму. Человека, который ищет Бога, нельзя уничтожить, он свободнее, сильнее и жизнеустойчивее человека материальной культуры".

Ленин и Троцкий в роли учителей жизни — это курам на смех, — поучал я мое семейство после ужина. И, если хотите знать, полезнее учиться не в книгах, а у реки, у деревьев, у цветов, где всегда заложена красота, а значит и мудрость.

— А сам ты кто такой, что вздумал учить деда?

— Я, как у Пушкина, „Азраил среди мечей". И я помню мои сны, а вы ваших снов не помните и может быть даже их не видите.

— Ну, расскажи, что тебе снилось, я люблю сны слушать, — говорит бабушка. Это происходило в среду утром, когда Гугш еще был закрыт, а мы еще не знали, что та среда 25 Октября — скоро станет выскоторжественным днем и едва не заменит воскресение.

— Сегодня снилось многое. Сновидческий мир есть нечто иррациональное, как шопенгауэровское представление о вселенной. Красок нет, все улицы, лестницы, деревья на Загородном, воинские отряды, штыки и папахи — все это, как на иконах, погружено в золотисто-коричневые тона. Доходят иногда шумы из другой, так называемой реальной жизни... Раздался гром с неба (позже я сообразил, что то мог быть выстрел с крейсера „Аврора") и с иконописных деревьев, смесь пальмы и сосны, сорвались и разлетелись во все стороны сороки, как извозчики со Знаменской площади, когда застрочит на Николаевском вокзале пулеметная очередь.

Но напрасно было бы видеть в тех птицах людей, министров Временного правительства, засевших в ту ночь в Зимнем дворце. Сны не творят никаких символов, это романтики присочинили.

Сон это океан, при засыпании он откатывает от берега нашей реальности, устремляется неизвестно куда, в центр или в глубину четвертого измерения, пребывает там одно мгновение или миллион лет и заканчивается постепенным возвращением к берегам. Тогда снова появляются горизонты.

Целую неделю я не ходил в Гугш. Потом гражданская война перешла на юго-запад, сперва в Гатчину, потом в Царское, после чего перекатилась на Дон.

Выпал снег. Пулеметы перевезли на новые линии фронта. Опять можно гулять и сидеть с книгой в оранжерее.

В Таврическом саду бывший лакей бывшего князя Шаховского еще некоторое время выводил на прогулку к одиннадцати утра двух великолепных пойнтеров, белых с черными узорами от головы до хвоста. Я их хорошо знал: кобеля звали Джин, а его жену — Виски.

Эпилог

Изменилась ли Россия после революции, и в чем?

На поверхности, конечно, перемены произошли, но по существу многое осталось, каким было всегда. Начальники командуют и боятся, предчувствуя очередную перемену. Подчиненные помалкивают, тайком читают запрещенные книги, передают один другому новый анекдот.

От предстоящих перемен мы ничего хорошего не ждём и сами себя называем обывателями. Мы не плохие люди, впрочем, не очень энергичные. Дон-Аминадо написал про нас стихи, которые начинаются так:

Не могу, друзья, лукавить!
Всеми чувствами горя,
Честь имею вас поздравить
С годовщиной Октября!

Кажется, эти стихи верно передают настроение неунывающих граждан СССР.

ДОМ У МОРЯ

Белый дом стоял над морем внизу горы. Это был санаторий для выздоравливающих и переутомленных. Около дома посреди пустыря вырос черный кипарис, дальше были виноградники. На каменной скамье, опираясь на каменный стол, сидели Валентинов и я.

С Валентиновым я не виделся почти 50 лет. Тогда это был неунывающий корнет гвардейского полка. В те дальние времена он пришел пешком из Белграда в Далмацию, где я служил на пограничной страже. Ему было нужно, чтобы я помог ему перейти итальянскую границу: он хотел легально вернуться на родину, но из Югославии это было невозможно устроить, а в Риме уже имелось советское консульство.

Тогда была эпоха „НЭП“, когда казалось что террор в России кончился и началось мирное строительство. После того как Валентинов отдохнул несколько дней, я перевел его горами в пригород Задара, и мы расстались надолго, до нынешнего лета.

Он написал мне из Рима, что его планы переменились, после того как он попытался поговорить по душам с советскими чиновниками. То, что он хотел узнать о новой России, ему открылось после нескольких разговоров с секретарями консульства — в этом советском учреждении обнаружилось что-то приторно лживое и даже опасное. Ему обещали полную реабилитацию и работу по специальности, но за этим чувствовалось „какое-то веяние из ада“, — писал он, — „в глазах и интонациях сквозила очевидная неправда и скрытая угроза“. И он навсегда остался в Италии.

В этот вечер мы сидели под кипарисом и вели беседу о жизни. Перед нами были стройные колонны и сквозь них сияло что-то голубое, скорее синее, море ли, небо ли, а главное, во всем была какая-то тишина, густая, синяя, но легкая, и все было пронизано заходящим солнцем, жаром, и все давало ощущение экстаза, но не буйного, а замершего в тишине и спокойствии. Я сказал:

— У меня хранятся твои письма из Рима, со многим я согласен, но все ж таки это не проникает в меня очень глубоко. Очевидно, что в Италии лучше, чем в России, к тому же это море и твоя итальянская жена. Но понимаю также тех, кто там остался, и то, что они жалеют нас, эмигрантов. Лучшие — от Блока до Солженицына — не хотели эмигрировать. Я читаю все, что там пишут, и стараюсь отделить правду от вранья. Вспоминаю то, от чего отговаривал русских людей Достоевский: бежать от своего креста...

Валентинов ответил:

— Ты умеешь много говорить о красоте и о любви, но, слушая тебя, я перестаю понимать, что такое любовь и почему русские реки милее, чем это море... Лучше расскажу мой сегодняшний сон — я, как все мы, вижу сны о России и из них стараюсь найти объяснение моей жизни. Не знаю, может быть, мое тогдашнее решение связать свою судьбу с этими краями было духовным самоубийством.

Так вот, этой ночью, вероятно в связи с нашим вчерашним разговором, „Чудный сон мне Бог послал" — помнишь, это из Пушкина. Приснилась ночь, вокруг много народа. Почти все молодые, лица простонародные, все одеты в лохмотья. Арестантские рубахи и рваные штаны защитного цвета. Укладываются спать на нарах. Это концлагерь. Вероятно, все устали после трудового дня, никто не говорит ни слова.

Один среди них особенный. Лицо почти как у нас и такая же одежда, рваная и грязная, но почему-то я внезапно понял, Кто это.

Кажется, никто Его не узнал. Хочу устроиться на ночлег около Него, но не решаюсь.

Знаю, что завтра Его убьют. Один из заключенных, пожилой и суровый, тоже догадался о Нем и вместе со мной следит, будет ли Он спать в эту ночь.

Вот Он вышел через дверь-окно на какую-то террасу с колоннами — это не подходит к концлагерю, но передаю точно, как приснилось — потом возвратился в казарму и лег среди нас. Я обрадовался: сперва испугался, что Он покинул нас навсегда.

Вокруг полутьма, пасмурно, но не страшно, напротив, успокоительно, потому что Он среди нас.

Дальше, уже в предутреннем полусне, я рассказываю обо всем этом Достоевскому, и он отвечает, примерно, так:

„Тысячи лет люди будут вспоминать наш век „Великого Страха". Всем будет мерещиться как судебные следователи пытали и мучили детей на глазах родителей, жен, мужей. Как старались превратить человека в жалкое насекомое, которое умо-

ляет своего палача раздавить, прикончить, на что следует ответ: Чего захотел! Нет, сперва поработай для коммунизма, а когда отбудешь свои 25 лет, можешь вешаться, разрешаю.

Я сам, — продолжал Достоевский, — стоял на эшафоте четыре с половиной минуты и нельзя передать до чего это было ужасно. Но вот, миллионы людей подвергаются худшим испытаниям. Сами чекисты не выдерживали этих зрелищ, и их приходилось сажать в сумасшедшие дома, потом власти сократили расстрелы, их заменила „смерть с лопатой“. В Заполярье, к счастью, не выдерживают много зим.“

— Мне думается, что теперь посылается с неба облегчение — дар не бояться смертной казни. Многие из вас видят сны вроде твоего, это передышка, утешение в беспросветной ночи. Русские получили особую благодать — свободу от страха. Для рабов страх, доведенный до предела, совершил то, что смерть принимается как избавление, как скорый и безошибочный способ покинуть землю Великой Безнадежности.

В Кремле повелители смотрят из окна на тех, которые стоят в очереди перед мавзолееем, чтобы с притворным благоговением взглянуть на мумию того, кто породил всех бесов. Вожди понимают, что происходит на Красной площади — и очень этим забавляются. Их смешит это всероссийское притворство перед трупом Ленина, поголовное вранье, которому никто не верит. Обязательная ложь — есть основа всякой дьявольской махинации.

Закрыть концлагеря и прекратить пытки комиссары не могут, вся система держится на насилии.

— Но, — возражаю я в полусне, — так было при Сталине, теперь, по слухам, стало легче.

— Нет, насилие, раз появившись, не может само упразднить себя, и это относится не только к большевикам. Когда действуют методом насилия и мучительства, как рекомендовал Ленин, то и конечной целью останется насилие. Пойми, что метод и цель — одно. Насилие навеки закрепится безвыходным адом. Допустим, что коммунизм это рай, но „насильно в рай не вгонишь“.

— Но и здесь, в Европе, инквизиция жгла когда-то на кострах, а сейчас много ли от нее осталось?

— Что ж, результат не блестящий. Много ли осталось от евангельского духа? Ад это насилие. Раз начавшись, ад не может прекратиться, все выходные двери заперты. Ленин этого не понимал, как и многие другие до и после Ленина.

Тут я окончательно проснулся и продолжал размышлять наяву. Блок и Пастернак не захотели эмигрировать, они боялись потерять в Европе свою русскость. Но русский дух — не геогра-

фия, а религиозность. Однако сам Достоевский, живя на земле, в этом путался до последних страниц „Дневника Писателя“. Можно жить и умереть в доме у Средиземного моря и остаться русским, с другой стороны, можно никуда не выезжать и потерять без остатка русскую правду, что и случилось, за редкими исключениями, с сотрудниками советских журналов, от „Огонька“ до „Вопросов Философии“.

Но довольно споров, не сегодня, завтра опять начнем. Будем с утра выяснять вопросы. Первый вопрос ставлю так: чем провинилась Россия, за что она ввержена в ад? И второй — может ли быть выход из системы насилия? Если ты считаешь, что выход есть, обдумай за ночь и утром расскажешь.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ГОГОЛЯ

Сверхреальное начало в писаниях Гоголя было обнаружено еще при его жизни поэтом Языковым. В Риме, в кафе „Греко“ Языков помогал переписывать набело „Мертвые Души“ и говорил, восторгаясь образом Плюшкина, что это больше, чем тип скупого, что это демон. Это не только полубезумный собиратель всякой дряни, но прообраз того, во что устремлены многие современники, которые только и знают, что каверзничать и наживаться.

Таковы Чичиков, Собакевич, Ноздрев, все герои „Мертвых Душ“, „Ревизора“ и всего, что было написано Гоголем. Тяга к накоплению земных благ ведет к умопомрачению. Все персонажи Гоголя, в отличие от самого автора, как будто никогда не слыхали о Христе, не читали Евангелия и про себя полагали, что религия полезна как опиум, чтобы простой народ не вздумал бунтовать.

Но лишь невнимательный читатель видит в этом маскараде крепостных помещиков и коллежских регистраторов реальных людей. Ясновидящий Гоголь усмотрел в своих современниках демонические черты, причем это не только стяжатели, взяточники николаевской эпохи. Двадцать пять лет назад мы узнавали на экране кинематографа наших старых знакомых, из речи прокурора в конце „Братьев Карамазовых“ о знаменитой гоголевской „тройке“. Птица-тройка мчится стремглав через поля, леса и горы, говорит прокурор, скоро она перемахнет через границу, на пути остановится перевести дыхание где-нибудь в Лейпциге, Дрездене или иных европейских „Рулетенбургах“... Из кого состоит эта тройка, спрашивает прокурор и отвечает: коренник — Собакевич, пристяжные — правая Чичиков, левая Ноздрев.

Наше поколение оказалось свидетелями того, как это предсказание начинает осуществляться. Сурово-каменный коренник — это маршал Красной армии. Деловитый генштабист, „мужчина не толстый, но и не тонкий“, слегка европеизированный и самый корыстный из всех — Чичиков. А Ноздрева мы встречали в Париже летом 1945 г.: это весельчак лейтенант, специалист по вы-

пивке, по женской части и по баяну (гармоника). „Где граница твоих владений? — интересуется Чичиков, когда Ноздрев показывает ему свою вотчину. — До того дальнего леса все мое. Лес тоже мой. А все, что за лесом, тоже мое“... Все, надо полагать — весь земной шар.

Гоголь вспоминает: „Пушкин сказал — „Боже, как грустна наша Россия!“ Я изумился — как Пушкин, который так хорошо знал Россию, не заметил, что все это лишь карикатура, плод моего воображения“.

Но ведь и библейские пророчества тоже не реальность, а сверх-реализм, символическое переключение в дурную, реже в хорошую сторону. Так писали все семнадцать пророков, от Исаии до Малахии.

Что Гоголь усмотрел вокруг себя? Его как бы не интересуют подлинные особенности русской жизни: ни тягость крепостного права, ни затаившаяся пугачевщина, ни молчаливая замкнутость Церкви. Он замечает монстров, чудовищ. Это отмечено в очень интересной книге недавно умершего Павла Николаевича Евдокимова — „Гоголь и Достоевский“ (по французски, 1961 г.): „Образы Гоголя это типы метафизические, которые существуют везде и всегда. Старая критическая школа и тем более новая критика в духе соцреализма — не имели никакой возможности разобраться в Гоголе, будучи лишены понимания метафизического зла. Гогооля не интересовало зло внешнее, социальное“.

Гоголь вспоминает, как еще в начале своей литературной деятельности он ужаснулся перед тем, что было ему показано темной силой, беспощадной и насмешливой. „Если бы кто другой увидел те чудища, какие к моему изумлению стали, как бы сами собой, появляться из под моего пера, он содрогнулся бы и перестал писать“.

Евдокимов сравнивает творения Гоголя с монстрами Пикассо. „И там, и тут странные существа двигаются как восковые куклы. Настоящего динамизма нет у Гоголя, ни в современной живописи. Все неподвижно, заколдовано. Нет жизни, одни лишь подобия человеческих отношений, и все теряется в пустоте. Воскресить этих мертвецов оказалось не под-силу Гоголю — он не смог осуществить продолжения своей поэмы, зндуманной как спасение „мертвых душ“.

О сравнении Гоголя с картинами Пикассо еще в 1918 г. писал Бердяев в статье „Духи русской Революции“. Сейчас эта статья переиздана в сборнике „Из Глубины“ (*).

(*) Издание YMCA-PRESS, Париж 1967.

„Страшная месть“, пишет Бердяев, насыщена магизмом. „Он художественно передает действие темных, злых магических сил. Это, вероятно, пришло к нему с Запада, от Польши. Но в более прикрытых формах есть этот магизм и в „Мертвых душах“, и в „Ревизоре“. У Гоголя было совершенно исключительное по силе чувство зла... Жуткости гоголевского художества совершенно не чувствовала старая школа русских критиков... Наша критика была для этого слишком „прогрессивного“ образа мыслей, она не верила в нечисть, она хотела использовать Гоголя лишь для своих утилитарно-общественных целей“.



Духовенство лучше понимало Гоголя. Оно знало его желание помочь Церкви и предупреждало его быть осторожнее, понимая, что сатирику, иронисту почти невозможно не поддаться искушению темных сил. Так говорил духовник Гоголя, о. Матфей, митрополит Филарет, осторожный епископ Иннокентий — все советуют умеренность, смиренномудрие. „Мертвые души“ могут соблазнить, потому что возможно ли смехом воскресить мертвецов... Удастся ли са́мому искусному художнику вытащить из преисподней, куда он неосторожно увлек и себя самого, и все вокруг себя, своих героев, в которых померк образ человека?

Но какое право имеем мы рекомендовать смиренномудрие художнику, погруженному в космические вихри, или спрашивать Гоголя „любил ли он кого-нибудь?“ Будто сами вопросители порой не пребывают в такой же запутанности и неразберихе. Большому художнику дан большой талант, но художник не всегда может управлять этим даром.

Перед Гоголем в последние годы жизни стоял вопрос, какую пользу людям смогут принести выпущенные им на волю бесы и вурдалаки. Иногда он старался успокоить себя соображением, что, показав реальность бесноватости темного мира, он тем самым доказывает материалистам существование мира светлого, ангельского, божественного, в который его соотечественники, внуки вольтерьянцев, мало верили. Но о. Матфей считал такое самооправдание неубедительным. По Святой Руси уже гуляют, пока в виде привидений, такие образины, каких до Гоголя нигде не встречалось. И еще, почему Гоголю не удается вымучить из себя хотя бы одного праведника и христианина? Его „князь“ или почтенный помещик Костонжогло, или честный генерал-губернатор (образы, намеченные для второй части „Мертвых Душ“) — все это не живые души и даже не героические.

Увы, темные силы победно царят на нашей планете и в нашей стране, и ни Церковь, ни молитвы, ни желание принести

пользу не могут помочь. Говорят о „непросветленной религиозности" Гоголя, но это ничего не объясняет. Против своего желания он сумел надсмеяться над Россией и над жизнью вообще.

„Ради чего вы все это писали, — вопрошает духовный отец. Если правда что вам подсказал покойный Пушкин, откажитесь, пока не поздно, от Пушкина".

— Да, я посеял ядовитые плоды; пока еще зерна не проросли, но страшно подумать, что будет в следующем поколении. Я должен был сжечь второй том „Мертвых Душ", то, что я принимал за гармонию, оказалось еще худшим хаосом", пишет Гоголь в „Четвертом письме по поводу „Мертвых Душ" в 1846 г. Но перед смертью, шесть лет спустя, все повторилось снова. Архимандрит Бухарев спрашивает его, возродится ли новый Чичиков...

„Наверное, отвечает Гооголь, и всё завершится с первым весенним дуновением жизни".

„Люди и характеры в последних двух частях выходят покрупнее обыкновенных и в значительных должностях", — пишет Гоголь А. П. Толстому. — „Я только с ваших слов узнал в чем истинно может быть важна и нужна в России должность генерал-губернатора. (Но так мог бы писать в Петербург городничий Сквозник-Дмухановский. Письмо вышло довольно искренним, но тем хуже). „Мне кажется, что организм управления губернии очень умно соображен в частях, соответствует духу земли и обнаруживает в государыне Екатерине большое понимание потребностей наших"...

Гоголь окончательно запутался. Порой ему кажется, что он умышленно напускает туманы, как сказано в Псалме 17: „И мрак сделал покровом, сенью вокруг мрак вод, облаков воздушных".

Из письма архимандрита Бухарева: „Прежние ваши книги могут людям помочь, но могут и повредить. Теперь все зависит от того, что вы напишете сейчас (после „Переписки с друзьями"). Во всяком случае, настоящее смирение — когда человек совершенно не способен думать о своих успехах или провалах — тогда он никому повредить не может. Не дай Бог умирать с мыслью, что мы невольно вели других в дурном направлении".

ЧУЧЕЛО

Когда этому человеку перевалило за семьдесят, он начал замечать, что незнакомые люди стали относиться к нему покровительственно. В метро почти всегда кто-нибудь уступает ему место, иногда даже молодая женщина поднимется.

Он вспоминает, что такое внимание к нему уже бывало раньше — когда ему было семь лет. Теперь ему прощают, стараясь не заметить, если он что не так сказал, если что-то перепутал в родстве или в поколениях.

Но вот главный признак того что он впадает в младенчество: его внуки не боятся втягивать его в свои игры. Они чувствуют, что он с ними не притворяется — что ему на самом деле интересно играть с ними и участвовать в их разговорах. Они могут спрашивать его обо всем, например, принес ли он им сегодня какой нибудь подарок и если нет, то почему. Ему с ними никогда не скучно. Вообще, как в самом начале жизни, он внимательно слушает и замечает все что происходит вокруг.

По ночам он меньше спит и перебирает видения из своего детства, начиная с трех лет, когда он долго не мог научиться говорить „я", потому что окружающие тоже называли себя этим странным именем.

Ему мерещится белый дом (который теперь разрушен войной, это недалеко от Бородина). Он видит широкие каменные ступени, по которым сползал сидя или задом, на четырех ногах. Дальше стояли темные сосны и ели, еще дальше оказывался ручей, который вдруг расширялся и в этом месте назывался прудом.

Потом еще были лица первых в его жизни собак, которые интересовали больше чем люди. Был ли то подлинный рай на берегах Колочи?

Вернуться в тот край сейчас я бы не хотел, думает он, даже если бы это оказалось возможным. Другие старики хотят умереть на родине, но там пришлось бы притворяться, врать, к тому же ехать утомительно. Всю жизнь собирался взглянуть на

Грецию, а теперь, когда явилась возможность, больше не тянет. Лучше схожу завтра еще раз посмотреть Лувр, вечерние морские пристани Клод Лорена и аркадийские пейзажи Пусена.

Люди на этих картинах менее заметны чем пейзаж, но ведь так было и в моем восприятии жизни. Теперь я знаю, что самые большие художники изображали людей. Вспоминаю, когда мне было лет пятнадцать, старая Пелагея спросила, почему я не хочу нарисовать ее портрет, и удивилась узнав что людей рисовать я не умею.

— „Как же так? Почему коров можете, а „людей не могу?“ Вы бы лучше коров оставили в покое, а то бабы жалуются, что из-за вас коровы перестали давать молоко как прежде. Говорят что вы колдун, вот что. Еще говорят на деревне, что вы все планы снимаете задумали нашу землю оттягать. Вчера вы стояли перед вашим треногом и чертили, а наши девушки подкрались кустами подсмотреть, как вы ноги перед доской раскорячили, да как закричат все вместе: чучело — гороховое — колдует!! и ну бежать врассыпную. А вы ни с места, будто оглохли“.

Это нас смешило, мои сестры стали звать меня колдуном, и все же деревня почувствовала какую то правду: настоящее искусство это не пейзаж, а портрет, чего я тогда не понимал, хоть и ходил зимой с Беллой Гольд по Эрмитажу.

Я жил погруженный в себя, переводил стихи Эдгара По и Бодлера, скрывая их даже от Беллы. Размышления мои бывали книжные, оторваны от жизни, как и книжная наука учебных заведений.

Потом началась революция, я и это событие почти не заметил. Перемена сперва показалась интересной, тоже скорей не совсем реальной, как сон или как притча из Евангелия, где блудный сын вдруг все теряет и принужден покинуть свой дом и барахло.

Но вот и меня захватила война. „Шалый он какой-то, все думает, а о чем — неизвестно. Даже за бабами не гоняется“. Так говорили про меня солдаты. С офицерами я мало сошелся не любил перекладывания карт за покером, не замечал кокетливых сестер милосердия. Мои товарищи влюблялись во всех сестер по очереди, я подозревал, что они тайно перешли в магометанство.

Командир полка определил так: „Очень странный. Совершенно непонятный. Единственно — пьет как человек. Однако и тут не напивается, что впрочем похвально. Но под конец окончательно трезвеет, а это уж черезчур“.

Эвакуация. Когда пароход „Россия“ вышел в открытое море, все пассажиры, как по команде бросились к тому борту, откуда

еще виднелись берега Крыма. Пассажиров было так много, что большой пароход заметно накренился. Женщины что-то кричали, молились, крестили еле-различимый белесый берег и крыши Севастополя. Я из протеста перед этой истерикой остался один на другом борту и устремил взоры на юг, как Байрон, покидающий навсегда Англию.

Был пасмурный, дождливый ноябрьский день. Пароход продвигался чрезвычайно медленно, кажется лишь через неделю мы вошли в Босфор. С обоих берегов нас обступали на холмах дома с балконами, минареты, и — выписываю из дневника:

И тогда все стало
по-другому —
Просветлели и
раскрылись дали
И над нами город
незнакомый,
Тот, что мы порой
во сне видали.

А потом Флоренция, Рим и лучший из городов земли — Париж.

В Париже я впервые в жизни нашел свою среду в обществе других эмигрантов, не только русских. Зарабатывал на жизнь развозя из „Биотерапии“ лекарства по аптекам, больницам, иногда на товарные станции, откуда ящики с товаром отправлялись за-границу. На обратном пути заезжал на выставку картин, в библиотеку или в Булонский лес.

Просыпаясь утром радовался что начнется новый день в этом чудном городе. Ведь только чудо спасло меня от моей родины, где я давно бы погиб в Караганде, в „Слоне“ (Соловецкий лагерь особого назначения) или в Колыме.

Один из политкаторжан чудом вышел живым после 25 лет Колымы и издал за-границей воспоминания с таким эпиграфом:

Колыма, Колыма
Странная планета:
Пятьдесят недель зима
Две недели лето.

Весь год умирали от холода и голода. Летом не удавалось уснуть из-за „гнуса“ (комары). Работа каторжная, побои и издевательства начальников, которые тоже были каторжане, в чем-то провинившиеся коммунисты. В этой книге были еще иронические страницы о красотах северной природы.

Всем людям дано ощутить хоть раз в жизни красоту, заложенную в самой обездоленной природе, в песках Киргизии, в сугробах Заполярия. Но каторжане знают одно, что люди их забыли, а природа никогда о человеке не помнила. Когда человек или зверь замерзает или медленно угасает от голода, ледяное равнодушие природы хуже чем если бы она гневалась. Смерть все не приходит и нельзя даже найти веревку чтобы повеситься. Для каторжан одно из наиболее горьких воспоминаний — их детские годы. Они иронизируют над предыдущим поколением, над теми людьми, которые подготовляли революцию, одни сознательно, другие (правые) — невольно, и те и другие по недомыслию.

Сквозь всю эту горечь иногда мерещится утешение: в глубине души человек сознает свою силу все принять и власть от всего отказаться. Каждое из этих состояний может быть либо гордыней, либо смирением.

Под полярным сиянием изредка загорался свет незаинтересованной дружбы, сочувствия, братского сострадания.

Все мы, выскочившие из огня эмигранты, вспоминаем по ночам о замученных там друзьях. Мне иногда снится мой однополчанин Петр Ганибал. Он является мне каким-то отчужденным, не примирившимся с тем, что ему приготовила судьба и скоро уходит в другую комнату, так и не сообщив что-то важное, то для чего он пришел. Хотя Николай Иванович У., писатель, который сидел с ним в Соловках в 30-х годах, рассказывал, что Петр бодрился и надеялся еще попасть в Италию. О его смерти не знаю, не то его расстреляли, не то сам „дошел" („доходяга").

О России я теперь стараюсь поменьше думать — неловко, прямо стыдно и ничем помочь нельзя. А если иногда вспоминаю, то как бы сквозь магический кристалл ночных записей Бориса Поплавского. У этого поэта воспоминания о России, о младенческих годах там соединяются с образом: равнодушная природа. А также с мучительно-сладостной музыкой Лермонтова.

***

Друзья мои, природа хочет
Нас не касаясь жить и цвесть.
Сияет гром, раскат грохочет,
Он не угроза и не весть.
Сам по себе цветет терновник
На недоступных высотах.
Всему причина и виновник
Бессмысленная красота.

Белеет парус на просторе,
А в гавани зажгли огни,
Но на любой земле над морем
С тобой, подруга, мы одни.
В ночном покое летней дружбы,
В горах над миром дальних мук,
Сплети венок из теплых рук
Природе безупречно чуждый.

Так прошло пол-века в изгнании. Это была лучшая часть в том сне, который притворялся жизнью.

А вот Петр Ганибал прожил короткую, но настоящую жизнь.

Он вместе с нами эвакуировался из Севастополя в 20-м году. Скоро после начал совершать конспиративные поездки в Москву. Его задачей было организовать крепкую группу энергичных людей, „Евразийцев“ и показать им на примере, что не надо никого бояться.

Он там встречался со многими, в том числе с одним священником. В 27 г. обнаружилось, что „Трест“ — та организация, которая устраивала эти поездки ему и некоторым другим (в том числе Шульгину) — состояла из чекистов. Это не помешало ему еще раз рискнуть поехать, в конце 1930 г.

В тот последний раз я провожал его на вокзал и осторожно стал советовать отказаться, хотя бы на некоторое время, пока не поздно. Он ответил, что осторожность — плохой советник и что „не все же там чекисты“, что, к сожалению, оказалось не верно.

Тридцать лет спустя я узнал от Николая Ивановича, что на допросах у Петра были выбиты зубы и что он выглядел много старше меня, хотя на самом деле был моложе.

Тогда, на Восточном вокзале в Париже, я понимал что он губит себя, но что отговаривать его поздно, он не мог не поехать. Он уже был не свободен, каким бывает человек, одержимый сильной любовью.

Так вот, это был не чучело, а настоящий человек. Такой встречается один на тысячу.

Но каждый находит ту музыку жизни, какая ему больше подходит.

ЛИЦЕЙСКИЙ СТОЛ

(Перечитывая Солженицына)

„Лицейский Стол“ — так называется 53-я глава книги Солженицына „В Круге Первом“. Дело происходило в ночь под Рождество, на „Шарашке“. Шарашка — „высший, лучший, первый круг ада, почти рай“.

...„Будем справедливы! Не все так черно в нашей жизни!... Этого вида счастья — мужского, вольного лицейского стола — ведь не было у нас на воле?...

„Семь человек расселись за столом. Потапов, выделяя слоги, сказал:

„Витийством резким знамениты
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи“.

Это строфа из Пушкина, из десятой главы „Онегина“, главы не сохранившейся. Пушкин уничтожил ее в 1830 г., некоторые строфы сохранил, частью зашифровал. „Витийство резкое“ — революционные речи. Беспокойный Никита — Муравьев, автор конституции Северного Общества декабристов. Осторожный Илья — князь Долгоруков, который сперва участвовал в тайных обществах, а после 1820 г. отошел от них и не принимал участия в декабрьских событиях.

В книгах Солженицына есть расшифровка утраченной десятой главы Онегина. Вот отдельные строки из черновиков Пушкина: „Везде беседы недовольных... И постепенно сетью тайной — Россия... Узлы к узлам“... Отсюда у Солженицына „Узлы“ — Узел первый — „Август 1914 г.“.

Любимые герои Солженицына это новые декабристы XX века.

В 13-й строфе все той же десятой главы Пушкин вспоминает, как в свои лицейские годы он посещал сходки будущих Декабристов:

„У них свои бывали сходки.

Они за чашею вина...
Они за рюмкой русской водки"...

Это „русские завтраки" у Рылеева, на которых подавался черный хлеб, капуста и водка.

„Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал...
Читал свои ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин
Казалось молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Хромой Тургенев им внимал"...

Здесь речь идет о связанном с Декабристами Николае Тургеневе, который в 30-х годах находился в эмиграции.

Из дневника Вяземского, от декабря 1830 г.: „Третьяго дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок 9-ю главу Онегина. Ею и кончает. Из 10-й предполагаемой читал мне строфы о 1812 годе и следующих. Славная хроника".

Вчитываясь в уцелевшие заметки Пушкина можно заключить, что к тридцатым годам его отношение к революции изменилось с эпохи „резких витийств". Без революций не было бы движения истории. Революции обычно не удаются — приводят не туда, куда обещали — но все же перемены происходят. Поэтому всякая опричнина, разиновщина, пугачевщина и неудавшаяся, преждевременная революция сверху — события декабрьские — имеют свой смысл. Старые узлы частично разрублены, новые завязаны, в этом глубокий секрет истории. Пушкин смутно предвидел это, когда написал в Послании к Юсупову: „Свободой грозною воздвигнутый закон". В наши дни это главная историософская тема опальных русских писателей.

Пушкин не скрывал своих заимствований: „Je prends mon bien où je le trouve". Первая глава Онегина совершенно подобна отрывку Вольтера, написанному в 1739 г., „Le Mondain". Потом он собирался поднять своего героя, связать его с „узлами" истории, превратив вольтеровского остроумца в настоящего человека, о чем упоминает и Вяземский и П. А. Катенин. Но в те годы вспоминать в печати о Декабристах было невозможно и такое изменение всего плана могло бы превратить роман жизни в поучительную морализацию для подростков.

В России 18-й век прошел под знаком „После Перемен", т. е. после Петра. Правда, и тогда прогремела пугачевщина и даже появились предшественники декабристов — Радищев или Новиков. Но настоящий этап „Перед Новой Переменой", столетие начиная от „завтраков у Рылеева" до 1917 г. совпало с поколе-

нием Пушкина и закончилось Блоком. Мы знаем, что сейчас на всех „Шарашках“ подготовляется новый перелом — движение в сторону „нравственного социализма“.

Читаешь новую книгу Солженицына „Август Четырнадцатого“ и будто в зеркало смотришь. И собственную молодость узнаешь и весь наш век, хотя описаны только десять дней в середине того августа, первый узел завязавшихся на целый век событий.

И всех старых знакомых вспоминаешь, даже тех, кого не встречал: генерал Самсонов, первая жертва трагедии, или героический полковник Воротынцев. Все мы помним катастрофу под Сольдау, как назывался тот проигранный нами бой в Восточной Пруссии. По Солженицыну этот бой предсказал все дальнейшее: „Такие катастрофы будут повторяться, и мы проиграем всю войну!“ предсказывает полковник Воротынцев в Ставке, после чего Верховный лишает его слова. Его отстраняют от командования, может быть дадут полк, но не используют его талантов и возможностей — почти то же, что случилось у нас со многими, с лучшими, начиная с Пушкина.

В жизни народов очередная большая революция происходит периодически, как смена сезонов. Но в то же время это болезнь, иногда смертельная для государства. Инстинктивно народ защищает себя от опасной перемены и вступает на этот путь, когда другого выхода не видно.

Мало кому из вождей революции обеспечен успех. Декабристы такими вождями не были и не могли быть, они не сознавали, что народ их не понимает. Настоящий вождь до времени держится в стороне и открывает шлюзы, когда срок настал. В жизни народов происходит космическая весна и осень и зима.

Лето и зима вступают между собой в бой, это совершенно подобно сменам времен года, хотя наблюдателям со стороны это представляется как стихийная буря. Над битвами гражданской войны царит особый порядок, не только хаос, как это кажется современникам. Настоящий вождь не торопится: декабристы погорячились и это привело к укреплению старого порядка, который еще не отжил свой век.

В смутные времена соблазнительно идти как можно скорее, чтобы осуществить перемену и в ней укрепиться. Но час должен быть выбран правильно и об этом снизу сама народная масса подсказывает вождю.

Осторожность не должна превратиться в пассивное ожидание событий. Терпение в высшем смысле есть сдержанная сила, спуск с горы на тормозах. Это проглядывает во всем что писал Пушкин в последние свои годы, а у Солженицына в новой его книге о начале первой Мировой войны.

СТРАХ

Гражданская война никогда не прекращается. Междоусобная брань, по прекращении военных действий, возобновляется на работе, на заводах, в канцеляриях, иногда в семье. Как в океане большие рыбы поедают малых, а те норовят укусить больших. То же происходит в лесу, на каждом дереве, под каждым кустом, в мире насекомых. Никто не хочет этого, но исключений не бывает. Только зимой, в лютые морозы происходит временное затишье, да и то не всегда.

Вспоминаю себя в парке, пустом, белом. Здесь подозрительно тихо под сводами инея. Стою на поляне, по колени в снегу. Вокруг во все стороны расходятся аллеи, высоко переплелись ветви, образовав белые галереи. За стволами просвечивает стена большого дома. Светло и тихо, будто вечный покой.

Это было после одного боя в тумане. Нас вывели в огороды, едва стало светать. В густом тумане глухо звучали выстрелы. Лошади натыкались на занесенные снегом кусты, спотыкались между грядками. Я не понимал, как можно вести бой вслепую. Потом туман разошелся, мы подошли к Десне. Меня оставили в арьергарде охранять переправу.

Издалека, с того берега раздавался голос: „За что воюете, генеральские б...и". И сразу же один из наших прокричал, отругиваясь: „А вы Троцкому продались, краснож..."

Поставив два охранения, одно над рекой, другое в сторожке при въезде в усадьбу, я пошел через парк посмотреть барский дом. На душе было тревожно, уже несколько дней приближалась какая-то развязка. В парке я чувствовал себя незащищенным, как двадцать лет назад, убежавшим из дома.

Едва я перелез через окно в бывшую переднюю, где стоял бильярд с сорванным сукном, знакомый запах плесени охватил меня. Так пахло в детстве в помещениях, где зимой не живут и не топят. Двери были открыты в комнаты с сорванными обоями и выломанными кирпичами.

Лестница с тяжелыми перилами, наполовину расхищенными на дрова, вела во вторй этаж, где было темнее и казалось холоднее, чем снаружи. В зале васела огромная картина с изображением дамы, верхового в охотничьем костюме на лошади — все в натуральную величину. Стоял ящик с наваленными книгами, я взял одну и подошел к окну. Это оказался роман „Астарта" вековой давности. В окнах не было стекол и на паркете лежал снег.

Сообразив по привычке, в каком направлении находятся наши, т. е. куда бежать, в случае тревоги, я погрузился в чтение. Таково мое главное занятие, начиная с шестилетнего возраста. И было совсем так, точно я вернулся назад, спустя много лет и разбираю на чердаке в Отрадном старые книги.

Вблизи голубые от мороза силуэты лип и вдруг между ними и мной появилось то, в чем я узнал свою смерть. В одно мгновение стало ясно все: неправильно взятая дорога жизни, приведшая к этому кладбищу, полная неудача, окончательный проигрыш. И суетливая тревога последних дней, и бесплодные поиски выхода: под окном, на мохнатой лошаденке стоял незнакомый солдат монгольского типа, в полушубке без погон, в папахе без кокарды, с винтовкой через плечо. Прищурив глаза, он пристально всматривался в меня.

Значит — конец: усадьба окружена и путь к нашим отрезан. Холодный пот выступил на всем теле, тошнота, физическая расслабленность, концентрирующаяся в желудке. Однако правая рука машинально стала отстегивать кобуру нагана: надо направить на него револьвер, пока он не нацелил на меня. Но не успел я этого сделать, как он сказал: „Господин корнет, вы чего? Я из штаба полка к вам для связи. Велено пакет передать. Ваши хлопцы сказали, что вы здесь".

Только что гибель казалась неотвратимой, и вот новая отсрочка, и радость дышать морозом. Еще не пришло время. Теперь только бы не забыть про этот случай, когда оказался захваченным врасплох, воспользоваться отсрочкой, чтобы подготовиться и спокойно принять неизбежное, когда *оно* по настоящему явится. И я спустился по совсем уже темным ступеням и взял записку от адьютанта, с приказанием ночевать на месте, так как на хуторе, где расположился полк, для нас нет помещения.

На исходе ночи случился новый припадок страха. Я разбудил Мухина, сказал, что в штабе полка сидят идиоты, чтобы бросить нас в таком месте, где каждую минуту нас могут окружить, потому что хотя Десна подмерзла, но пехота сумеет ее перейти...

Это черт знает что, я не могу рисковать людьми, надо немедля поднимать их и через десять минут мы снимемся.

Мы не впервые ночевали отдельно от полка и ничего не случалось, однако дисциплинированный Мухин ничем не выразил своего удивления. Он поднял людей и мы выступили, тихо пробираясь среди сугробов, темноты и ветра. Потом на горизонте слева стало светлеть и скоро на холме обозначилась деревня, в которую мы шли. Нам повстречался посланный от штаба, с приказанием немедленно присоединяться, так как полк выступает. Впоследствии я узнал, что усадьба, в которой мы провели ночь, была занята красными сразу после того, как мы ее покинули. Командир полка оглядел мое войско, вероятно удивляясь тому, что мы так скоро пришли, однако ничего не сказал. На соседнем поле кирасиры уже завязали перестрелку.

Весь этот день я испытывал недомогание и почти все время дремал в санях, куда пересел с седла. Ночная усадьба Благодатное по временам мелькала на горе. От особенно громких разрывов я просыпался и замечал, что мои сани ползут, переваливаясь, по мерзлой пашне, или что мы снова остановились. Бой то приближался, то затихал. Я как-то вдруг совсем размяк. Со мной случилось то, что на военном жаргоне называется „потерять сердце". Человек, перед тем воевавший спокойно и казавшийся равнодушным к опасностям, вдруг становится преувеличительно осторожным, нервным, обуреваем мрачными предчувствиями. Иногда, если разрывы очень приближались, происходит припадок желудочной схватки — „медвежья болезнь". Начинало казаться, что не надо сидеть в санях, что лучше встать и идти по снегу в гору.

„Вкушая вкусих мало меду, и се аз умираю", произнес я текст из Писания так громко, что правивший лошадью Синицын обернулся и переспросил. Должно быть я искажал мою жизнь неумеренным чтением и легкостью мысли. И то и другое пора окончательно преодолеть, если останусь в живых. Так я размышлял сквозь дремоту и одновременно взвешивал, как вести себя сейчас: оставаться ли в санях или выйти на снег.

Вот сейчас выйду, вытяну сперва одну тяжелую ногу, за ней другую. И все не мог, точно был заколдован, лишился воли и наполовину потерял сознание. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не явился ординарец от командира полка, передавший приказание немедленно явиться. Я выскочил из саней, но не успел сделать двух шагов, как неожиданно откуда-то сзади, сбоку, рядом, точно оглоблей огрели меня по левому плечу широким давящим ударом, не столько болезненным, сколько обидным и пригибающим к земле. Я зашатался, пригнулся и, сообра-

зив что случилось, рухнул обратно в сани, сказав: „на перевязочный пункт, я ранен“.

Рана оказалась не опасной — в мякоть плеча навылет. Доктор сказал, что повезло, чуть выше сердца и тут же на поле написал свидетельство о ранении.

Первое время болело и лихорадило. В вагоне я сидел с подвязанной рукой. После нескольких дней путешествия во вшивых теплушках, докатился до Симферополя. В полусне разыскал военный госпиталь, где старший врач определил: „Да вам вовсе не ко мне нужно, а в корпус заразных. У вас, отец, тиф в полном разгаре! Зембалюк, проводи поручика к сыпнотифозным“.

ПОЛЯНЕ

На гражданской войне моя внутренняя жизнь текла по своим собственным законам, и наши военные успехи меня интересовали меньше, чем пейзаж. Из того, что существовало вне меня, я внимательнее всего приглядывался к очертаниям и краскам вокруг.

Иногда после дождя весь окружающий ландшафт окрашивался в серебристые тона. Тут была вся гамма серого сияния, от осин Брянских лесов до отблесков Десны, луж и окропленных дождем крыш. Под низкими облаками странно приближались отчетливые силуэты на горизонте — остроконечные скирды, отдельные деревья. Бугром заворачивался влажный чернозем вспаханного поля. Вдоль межи возвышались анемичные тополя, обернувшие по ветру серебристую листву. Мне казалось, что эту картину, которую никто кроме меня не видит, я бы мог замечательно нарисовать и я очень печалился, что не могу заняться этим.

В Нежине мне удалось реквизировать в реальном училище забытую кем-то коробку с акварельными красками — я объяснил сторожу, что они нам нужны для раскрашивания военных карт. И с окраины села Короп, где мы сделали дневку, я до вечера изображал романтический пейзаж: на первом плане золотистые стога соломы, дальше огороды, а на горе, за синими деревьями парка разлегся белым призраком остов Батуринского дворца Разумовских с черными провалами окон и полукругом колонн. Жителей, конечно, не было на этой сцене — одни декорации.

На следующий день мы шли в обход болота с камышами. Каждый куст казался подозрительным, каждая группа елок таила засаду. Мы сходили с лошадей и долго ждали чего-то. Это повторялось много раз. Лошадиные головы, винтовки, головы в шлемах, все это казалось таинственным сном.

Тихие голоса сказали: „по коням“, и тотчас прокатилось, затряслось за опушкой леса, оглушительным ревом „ура, ура!“ Наш авангард понесся к селу карьером, загремели чужие пушки,

истерический кашель пулеметов разбудил лес. Деревья редеют. Мы рассыпаемся в лаву. „Шашки вон!“ Уже нет леса, вдали среди тумана соломенные крыши. Мы скачем. Наши кричат „ура“ и непристойные ругательства. Я тоже.

Вокруг нас какие-то пехотинцы, они стоят в траве, некоторые подняли руки. Это чужие солдаты, они сдаются. Но лошади не могут выдержать долгую скачку по мягкому полю. Не дойдя до деревни, карьер переходит на галоп, который тоже замедляется, тяжелеет, переходит в рысь. А пулеметы не заглохли и мы все чувствуем, что если потеряем порыв, дело может обернуться плохо.

Ко мне подъезжает унтер Александров, с возбужденно радостным лицом: „удирают“, говорит он, указывая на дальнюю дорогу, по которой вскачь уносятся подводы. Подскакивает Андрей, рамахивая шашкой. Он кричит что-то, хочет забрать Александрова, меня и еще нескольких и скакать на перерез уходящим обозам. Но не поспеть: выдохлись кони. Командир полка приказывает не отрываться.

С разных сторон к деревне подтягиваются наши. Гонят пленных, человек тридцать. У них землистый цвет лиц, вероятно не спали всю ночь. Мы критически поглядываем на их обмундирование. Подходит наш командир:

— Коммунисты имеются?

— Никак нет, отвечает несколько голосов; один прибавляет: ваше благородие.

Сергей Иванович вопросительно смотрит на нашего вахмистра, тот на пленных и изрекает:

— Не заметно чтоб какой-нибудь, очень уж все серые.

Мы отбираем трех, которые повыше ростом, голубоглазых, и назначаем их в наш второй взвод. Теперь они будут сражаться в наших рядах. Я записываю их фамилии в полевую книжку: Жила, Шудра и Зима. Остальных отправят в тыл. Конвой, который будет их сопровождать, не польстится на их рваные сапоги.

В деревню медленно, как погребальная колесница, въезжает наша санитарная двуколка. Заглядываю под брезентовый навес, там лежит умирающий унтер-офицер Жуков. Ему только что снарядом раздробило ногу выше колена и вырвало бок. Он в сознании, знает что наступил час его одиночества, что он скоро умрет. Живые, заглянув под брезент, отшатываются и стараются забыть то, что увидали: им нельзя размякать, им нужно сохраниться эгоистично-суровыми, внутренне собранными, чтобы самим не оказаться в положении Жукова.

Жуков видал много походов и смертей и знает закон: сражаются вместе, умирает каждый сам по себе. Он, вероятно, и

сам не раз сторонился умирающих. И всё же он просительно заглянул мне в глаза. Возможно, что он заметил вчера, что я не как другие, с моим рисованием, и в глазах его мелькнула надежда, что, быть может, я с ним побуду. Он попросил меня убрать наброшенную на него шинель, которая его давила. Но по тому как я это сделал, стараясь не смотреть на пропитанные кровью бинты, он понял, что напрасно надеялся на меня и закрыл глаза.

⁂

...Многие сны о войне снятся мне в Париже, в жарко натопленной комнате с полуоткрытым окном. Сны беспокойные, на самой границе кошмара. На утро обычно мало что оставалось от тех снов. Их было много, десятки каждую ночь. Темы бывали различные, но всегда они сказывались, как несколько измененные эпизоды из моей жизни. Порой удавалось их запомнить и сразу записать, не вылезая из-под одеяла.

Часто повторялся сон про страну пустынную, совсем лишенную жителей — людей не было и это казалось естественным и не тяготило. Или на мгновение мелкал некий город, смесь Москвы и Парижа, или же в деревне луговина с коровами, пустые шалаши, негритянская архитектура. Или зима, сугробы и все та же пустота — только поодаль насторожился мой старый пень, в младенчестве я принимал его за волка. Или лето, под гнилыми балками моста, среди мясистых листьев на воде шевелятся тяжелые цветы, белые и желтые. Северные лотосы, Индия в Звенигородском районе.

Зимний пейзаж бывал подозрительно отчетлив. Среди снега оказывались не только кусты можжевельника, но даже тень от каждой иглы на сугробе. На горизонте храм, Шартрский собор, построенный из драгоценного фарфора.

Все это могло быть настоящим путешествием в развернутое время, в особом преломлении реальности и, может быть, на границе смерти — en tenue astrale — по определению Андрея, который читал индусские книги.

А вот я иду по дороге, незаметно выйдя из многооконного дома, где осталось целое общество военных и ученых, отчужденных, но не опасных: высокая серьезная дама, генерал Самсонов, Лев Толстой, еще была Настасья — все молчаливые, как бы не совсем оправились после опасной болезни. И вот теперь дорога, сумерки, пусто. Навстречу едут телеги. Некуда уйти на равнине и поздно прятаться и срезать погоны. В первой телеге мужик с глазами светлыми и пронзительными и такой же мальчик. Я разоблачен, они будто не замечают, однако попридержали лошадь. Надо что-нибудь сказать.

— Вы цыгане? спрашиваю я.
— Нет, мы *поляне*.
— Какие поляне?
— Какие? Обыкновенные. Не узнал?

И едва он сказал, все поле вокруг наполнилось другими телегами, так что нельзя ступить ни шагу в сторону. Попался и не готов к ответу. Довольно, говорю себе, затянулась канитель, но телеги не исчезают, все новые колеса, дуги, передки и насмешливые глаза.

На миг канитель растворилась в другой реальности. За окном прогремел грузовик. Слава Богу, я еще в Париже.

Но сон не кончился. В избе сидит женщина, будто из простонародья, но с обликом сельской учительницы. Я ее где-то встречал, когда-то она мне читала „Крестьянские дети" Некрасова. Сейчас она стала совсем седая и не одобряет того, как я устроил свою жизнь: ни завтраки с Иваном Ш., ни фланирования по улицам чужого города, с заходом в церкви всех вероисповеданий. Ведь мои сверстники в эти годы трудились, не покладая рук и воевали в очередной войне. Ее упрек не обидный, как уже бывало в те годы, когда мне случалось провалиться на экзамене. Нет, но она произнесла: „Зачем ты не со мной в мой час тоски смертельной? Зачем бежал от своего креста?"

Надо опять уйти, думаю я. Уйти от позора. Это последний экзамен, который я опять не выдержал. Бесполезно этому негодяю (мне) объяснять, что значит совесть. Но, размышляю я, поднимаясь по лестнице, предположим Андрей прав и нам суждено вторично родиться в тех же местах, между Звенигородом и Волоколамском. Звездное небо будет светить по-прежнему, но сам ты, на сей раз, станешь смотреть на людей вокруг себя, а не только на деревья и облака. И все сложится по-другому.

Но как вышло, что проснувшись в три часа ночи, я успел, пока не забыл, записать все те слова?

Серьезно думаю, что этому помогли, каким-то им известным способом, серые Поляне.

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ

Дни летаргии сменялись короткими периодами усиленной работы. Бывали вечера („Подмосковные Вечера"), когда вся наша компания собиралась у кого-нибудь за городом, каждый приносил спиртного и мы говорили о чем угодно".

Так пишет анонимный англичанин или американец, вспоминая несколько лет проведенных им в Москве. Книга называется „Наблюдатель в Москве". Автор хорошо знает русский язык и литературу. Он со многими вошел в дружбу и с ним не стеснялись.

Иногда говорили о несогласиях среди вождей, например, кто в Политбюро хотел бы ослабить диктатуру. Ставили вопрос, кто в Кремле заплатит за грубую ошибку в Чехословакии. (Заплатит своей политической карьерой).

Партия не может ошибаться — это говорилось в ироническом тоне, — в истолкованиях марксизма-ленинизма мудрая партия не погрешима. В случае ошибки, вина падает на отдельное лицо или группу лиц, как было при Сталине, при Хрущеве.

К Косыгину относятся более терпимо. Этот, по крайней мере, чему-то учился, он экономист университетской формации, он понимает необходимость известного либерализма, знает что самодержавие опасно для режима и оно является причиной технического запаздывания.

Из всего трумвирата один Косыгин как будто был против процессов писателей и за ослабление цензуры. Но он не храбр и не хочет рисковать. Как и все прочие, он вошел во вкус власти. И, как и все, засевшие в Кремле, он является наследником Сталина и соучастником сталинских методов.

Один студент отвел в сторону заграничного гостя и стал выкладывать что накопилось на душе:

Сегодня хорошо повеселились, водка, коньяк, но не ошибайся: в глубине каждого — горечь и отвращение. Нам противны все эти мерзавцы, мы их презираем, но, к сожалению, боимся.

Среди нас, интеллигентов, нашлась горсть мучеников, героев, которые посмели открыто протестовать. Мы и пальца не подняли, чтобы их поддержать, а остальные девяносто процентов населения даже рады что тех раздавили: так спокойнее. Пусть переучиваются в лагерях. Все лучше, чем гражданская война.

Вот что скрывается за нашим весельем: стыд, ненависть и чувство вины. Я трус, я недавно женился, я ничего не могу, моя хата с краю. С пятнадцити лет я начал выпивать.

Вошел молодой француз, получивший приглашение в Москву от Союза сов. писателей. Он не понимал, в какую компанию попал и напившись начал провозглашать тосты за социализм. Начал он против уклонов и считает, что несмотря на все, социализм утверждается в этой стране. Какой пример для Европы!

Присутствующие стали переглядываться: кто его привел? Но он как будто на самом деле ничего не понял. Все вежливо поддакивали, по очереди чокались, одобряли коллективизацию в деревне. Традиционное русское гостеприимство достигло небывалой степени, каждый норовил подлить ему коньяку, честно и радостно заглядывал ему в глаза: „трэ жюст, шер камарад!". Скоро этот гость завалился на диван и заснул.

Доктор сказал: „Как не почувствовать, что все достижения здесь давно опротивели? Даже театр, даже балет! Есть предел всему, даже русскому терпенью. Мы защищаемся молчанием — но и это не всегда возможно — защищаемся не только от рабочих и от КГБ. Нас раскусили, считают, что мы предались или продались Западу, что клевещем на родину и на вождей. Но „подлинное чувство хранится в молчании", это китайская пословица".

Известный математик пояснил:

„Социализм не имеет никакого значения, никакой ценности, как и всякая теория. Теория не может изменить качества жизни. Важно одно — работа и талант. КГБ конечно знает о настроении верхов интеллигенции, но до времени оставляет нас в покое, пока мы не говорим слишком громко, постольку им нужны спецы. Партийность не улучшает человеческую душу, а уж про науку и искусство и говорить не приходится. В каком-то смысле мы толстовцы или индуисты: никто ничего изменить не может, за исключением самого себя. Но нас мало, один процент, самое большее три. Остальное обыватели, тяжелодумы. Попавший сюда человек с Запада часто начинает симпатизировать российской массе, он находит здесь больше человеколюбия, чем у себя на родине. Заезжий гость из Бордо возлагает на нас какие-то надежды. Но не ждите скорой перемены — зажим сверху, пассив-

ный страх снизу — вот наш постоянный удел и до и после Петра. Ключевский говорил что еще в Немецкой Слободе нас любили, неизвестно за что. И потому:

Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
Так Постумия велела,
Председательница оргий.

Надо думать, что и в Риме при Августе было что-то в нашем роде, недаром Пушкин в свои последние годы все чаще обращался к Катуллу и Горацию.

В сущности, что именно вы приехали узнавать в Москве? Все наши проблемы не интересны. Мы трусы, не герои. Каждый из нас в отдельности может быть не предает, но в целом мы предатели, и с этим ничего поделать нельзя. Власти нас терпят, мы им нужны. По временам кого-нибудь выхватывают и сажают.

Что для меня и для моих друзей особенно ценно в русской жизни? Это религиозное начало. Так, в религиозном свете, мы видим лучших писателей прошлого и вообще все, включая наш незатейливый пейзаж. Тихие озера, луговины и перелески, нам теперь разрешено это одобрять, но конечно не просто, как мы хотим, а с вечной оглядкой на чертову материалистическую ахинею.

Говорю это вам, ведь вы не только заезжий созерцатель, вы сочувствуете нашей беде. Вы поняли нашу болезнь. Оказывается, для того чтобы полюбить, не нужно даже уважения. Так когда-то Голландцы и Немцы из Немецкой Слободы твердили нашим прадедам: «wir lieben sie», а юмористические наши прадеды определили их странную склонность к лести глаголом „лебезит“ немчура.

А впрочем, все в жизни запутанно и сложно, а порой совсем просто, хоть и кажется загадочным. Дело в том, что мы разучаемся открыто смеяться, и тем лучше, то-есть я хотел сказать, тем хуже... Но мы не закончили то поучение Катулла — Пушкина:

Ты же прочь, речная влага,
И струей, вину враждебной,
Строгих постников довольствуй:
Чистый нам любезен Бахус.

МЕЧЕТЬ В ПАРИЖЕ

„О Аллах! Я углубляюсь в незнакомую страну, и однако знаю, куда иду и где нахожусь: я везде у себя дома“.

Нас водит по мечети красивая марокканка, она учится в парижском университете. Просит нас громко не разговаривать. Объясняет откуда изразцы, откуда ковры и серебряные чаши. Дает понять, что Коран это поэма орфического воссоздания мира и что книга эта творилась не умом, а сердцем Магомета.

В Коране имеются страницы, которые нужно понимать буквально, и другие, в которых нужно видеть иносказание, как в стихах заумных поэтов. Загадочные тексты могут ввести в соблазн ученых рационалистов, но также и романтических мечтателей. Если сердце сухо, оно всюду порождает ересь.

Тема Корана одна — эта книга одержима Единым, Благим, всеобщим Отцом. Не важен план этой книги. Абу-Бекр перепутал порядок глав, записанных на пальмовых листьях. Он начал с самой длинной, „Корова“, и в конце поместил самые короткие, о страшном суде. Важно, что всякий может раскрыть эту книгу всюду, наугад, и любое место окажется для него и пророчеством, и объяснением его грехов, и указанием, как поступать в будущем. Каждая строка станет пробуждением совести и ключом к воротам рая.

Надо, чтобы всякий из нас ощущал Всемогущего всегда и во всем, в счастии и в горе, наяву и во сне. Если человек ввел память о Боге в свое подсознание, в самую глубину своего „я“, пояснила наша водительница, то следствием этого явится не гордость, а смирение, благодарность.

— Благодарение за то что родился магометанином? — спросил один из нас. — За то, что живу под особым покровительством свыше, не так, как атеисты и люди других, запутанных религий, где Бог не только всеблаженный Творец, но одновременно и страдающий, распятый на кресте?

— Не совсем так, — сказала марокканка. — Следствие абсолютной веры — увидеть свое ничтожество: Кто Ты и кто я? отсюда начинается покаяние.

Она прибавила, что ей запрещено спорить о вере, хотя в Сорбонне она не уклоняется от ответов на такие вопросы. В Коране сказано, что нет человека, который не ощущал бы иногда свою беззащитность перед жизнью. И это не всегда проистекает из душевной слабости. Отчаяние перед жизнью порождало силу самых больших поэтов. Всякая горячая вера, будучи противоположна мечтательности, может показаться прозой во времени, хотя в вечности она обернется красотой и единственной подлинной поэзией.

После того, как мы окончили осмотр и вышли в сад, дав место другим туристам, мы продолжали разговор.

Романтизм, которого нет в Коране, есть ошибка, потому что он мешает пробиться любви. Коран это не только поэзия. К Евангелию наше представление о поэзии совершенно не подходит. Могла ли бы наша водительница по мечети защитить в Сорбонне Коран перед Евангелием? В главе Корана „Поэты“ осуждаются: „стихослагатели, блуждающие без дорог“. Хотя в другом месте сказано, что при удаче ум и талант могут привести душу к вниманию и любви, но не так прямо, как простое движение сердца.

Для нас норма добра есть Христос. Норма истины для нас не сила, не вемогущество, а свобода. То же для воли и красоты. Принуждающая сила центра, свет, излучающийся из центра, неизбежно влечет к себе ангелов. Но ангелы, когда они возвращаются к Создателю, будут нечто менее чудесное, чем люди. Потому что мы свободнее, от нас зависит возвращаться ли нашим душам к Источнику света.

Мы имеем право на боль в том смысле, что страдание человечества есть страдание Бога, нас создавшего. Но загадка человека пока для нас остается главной и, может быть, единственной тайной мироздания.

Мы можем принять только такой мир, в который сошел Христос.

Мир Ислама есть дитя восторга. Так великий Архангел Гавриил, диктовавший Магомету, не смог вынести волны восхищения. Коран знает о страдании, но как бы не замечает его. Для нашего представления, жертвенно идя на боль, Христос освятил этот несовершенный мир.

Об этом есть намек в Коране, о преимуществе людей. Бог предложил ангелам поклониться Адаму, и те из ангелов, которые отказались, были низвергнуты с неба.

„Если бы Ангел родился на земле, он бы страдания не заметил, потому что Бог был бы всегда у него перед глазами и закрыл бы Собою все“, записал в Абиссинии Артур Рембо.

Вспоминаю, что в тот вечер Адамович сказал о русских поэтах: „Некрасов, Блок и еще кто-то видели Христа, а все остальные только Ангела". Архангел, диктовавший Коран, мог бы не заметить наших „мировых войн", их ужасных причин и следствий: отсутствия совершенства в жизни.

Чем рудиментарнее какое-нибудь творение, тем более оно есть доведение „отсутствия" до полноты. И это узнали не в Афинах, а в Иерусалиме. Адамович вспомнил, что древние удивлялись, как мог Бог сойти не в лучший город и страну, где жило сто философов, а в темную, истерзанную Иудею, где не умели логически мыслить. И где не спрашивали о реальности времени, пространства и числа.

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР — ПОЭТ ГРУСТНОГО ВЕСЕЛЬЯ

Вождь французского футуризма. Родился в 1880 г., умер в 1918 г. Славянского происхождения (настоящее имя: Вильгельм Аполлинарий Костровицкий). Лучший сборник стихов — „Алкоголь“ (1913 г.). Кроме стихов, писал новеллы. Был также художественным критиком, открыл для Европы негритянскую скульптуру, был другом Дягилева и много писал о русском балете. В стихах его — сплав французских, германских и славянских ритмов, почему эти стихи легко поддаются переводам. До сих пор, насколько мне известно, по-русски было переведено немного его стихотворений. Влияние его в Англии и Германии растет с каждым десятилетием. В Чехии имеются хорошие, почти полные переводы его стихов. Оказал заметное влияние на русских поэтов в Париже, начиная с Бориса Поплавского, особенно в сборнике Поплавского „Флаги“ (романтическая ирония заостряющаяся до сатирического преломления действительности).



„Смысл стихов уже много раз утверждался как главная их ценность. И столько же раз отрицался как нечто несущественное. Обе точки зрения имеют за собой некий призрак правоты. Отрицатели смысла правы в том, что существуют прекрасные стихотворения и целые поэмы, в которых вовсе нет никакого дискурсивного развития, как, например, у Рембо. Утвердители же смысла правы в том, что несомненно неглубокий человек не сможет никогда написать действительно хорошего стихотворения, иначе говоря, — в стихотворение как-то переходит глубина его написавшего, которая и является его смыслом. Но несомненно и то, что некоторые большие поэты не были очень умными людьми. Во всяком случае, рациональный смысл их стихов сводится к крайне малому и никогда бы не создал ни их влияния, ни любви к ним. Но чему-то они всё же научают и об этом чём-то мы попытаемся говорить.

Мне кажется, что стихотворение есть загадочная картина, которая и для самого автора предстоит как нечто объективно-неясное. Ее ему следует еще понять и раскрыть. Классическое стихотворение часто делится на две части: в начале — загадка, в конце — попытка ее истолковать. Истолкование есть приведение чего-то более видового к чему-то более родовому, оно обычно начинается на „так“, тогда как „тело“ стихотворения (классического) начинается часто на „как“. В сохранившихся черновиках Пушкина или Тютчева это бросается в глаза. Поэт твердым почерком, как под диктовку, записывает: „Как океан объемлет шар земной“. Дальше следуют перечеркнутые строчки, в которых можно разобрать проекты истолкования „даром полученного“ символа, например: „Так... душа... всегда объята снами...“ и т. д., пока внутренний слух не подскажет, что верное истолкование найдено. В классическом сонете это разделение на картину и истолкование введено в правило: первые восемь строк — загадка, последние шесть — объяснение.“ (Борис Поплавский).

Кроме того, лучшие поэты были наделены способностью повышать в конце еще на одну октаву свое тайноведение и как бы подниматься над своим стихотворением, „разрешать“ его в некоем откровении нового его „смысла“. Это свойство поэтов золотых эпох — заканчивать стихотворение новым мощным взмахом крыльев. Аполлинер, „серебряный“ поэт, этого дара не имел, как не имел его Гейне, Блок и много других очень больших поэтов. Концы их стихотворений удивляют, поражают, но не возносят в экстазе. Не об этом ли думал Сергей Дягилев, глубоко чувствовавший всякое искусство, когда он советовал Аполлинеру: „Я хочу, чтобы ты меня всегда удивлял... понимаешь? Удивляй меня...“



Если гении поэзии пишут сперва загадочную картину, а потом могут сами раскрыть ее смысл как бы в „экстазе высшего измерения“, то стихи „серебряных“ поэтов можно скорее сравнить с их снами, тайный смысл коих может быть многообразен и не раскрыт ни для них самих, ни для их читателей. Да они часто и начинают сборники своих стихов с претворения виденного ими во сне. Тогда концом стихотворения явится просто пробуждение, что не замечается молодыми их читателями, но что чуть разочаровывает пожилых, которые, перечитывая на склоне дней Гейне, думают: „В двадцать лет я переоценил его в моих восторгах... Хотя он все-таки очень хороший поэт“.

ДВОРЕЦ

(По-видимому, это — запись сна из периода нищеты и голодовки Аполлинера. Помещено в самом начале сборника „Алкоголь“. Знатоками поэзии ценится высоко, несколько лет назад разбору его была посвящена целая серия лекций в Сорбонне, передававшаяся затем по радио).

Дворец Розамонды. В ночные виденья
Босыми ногами уводят мечты.
Дворец королевский: балконы, ступени,
Индийские всюду кусты.

Иду. Раскрываются воспоминанья.
Смеюсь над концертом лягушек вдали.
Стоят кипарисы у вод в ожиданье,
А звезды глядят в малярийный залив.

На острых коленях у прелюбодея,
В расцвете весны, опустивши атлас,
Сама Розамонда сидит не краснея
И щурит киргизский загадочный глаз.

Моих размышлений была ты царицей,
Тебя я встречал наяву и во сне.
Мерещились всюду восточные лица,
Восточный загар на плечах и спине.

Довольно. Тук-тук. Полусумрак лиловый,
Качается лампа алмазом зари
И запах еды долетел из столовой,
Где двадцать супов, будто двадцать урин.

Порочный король. Обжираются гости.
Мясные блюда поварята несут,
Но мыслей голодных обглоданы кости,
У мыслей мороженых мамонтов вкус.

И вся эта снедь проклинала, вопила,
Кощунствовал бычий разрубленный зад.
Что было потом, передать я не в силах.
　　Довольно, всё к черту, назад.

Сон, увиденный на самом деле или нет, составляет тело таких стихотворений. Такой сон, запутанный или простой, есть развернутое сравнение или образ. Поэт хочет передать свое особенное ощущение радости, или печали, или любви, но не находит в языке ничего, кроме количественных прилагательных,

например, горячая, слабая, сильная. Как будто не существует столько же любвей и печалей, как и людей, и не есть ли каждая любовь каждого человека неповторима и моментами разлита на всё, хотя бы на городской пейзаж, с мостами и фонарями. И каждый момент этой каждой любви ничем не похож на другой...

Итак, в погоне за передачей качества ощущения — тогда как прилагательные говорят почти исключительно о количестве, или же о самых грубых моментах качественного различения (страстная, тихая, нежная, например) — поэт пытается сравнить свою любовь с чем-то знакомым и ему, и читателю и вызвать в обеих душах то же ощущение (какое — неизвестно). Так рождаются, например, неожиданные сравнения в стихотворении Аполлинера „Снег". Или влюбленный говорит: „Как красив этот зажегшийся газовый фонарь на мосту под дождем", а она отвечает: „Да, я каждый день здесь прохожу и никогда не замечала". И тяжелый мост Мирабо становится гением, покровителем их любви и переходит в его стихи.

НА МОСТУ МИРАБО

Вóды реки под мостом Мирабо протекли
И любви нашей воды.
Нужно ли помнить о вас, промелькнувшие годы?
Радость всегда возвращалась после печали.
Ночь проходила, час отбивался.
Дни исчезали, я не менялся.

Руки в руках держа, на мосту мы стояли
А внизу глубина.
Там под мостом наших рук в океан уплывали
Волны реки, нам казалось — им не было дна.

Так уходили любви беспокойные волны,
Не торопясь в океан.
Дни убегали, печалью таинственной полны,
Укрывал нас надежды туман.

Дни исчезают, проходят недели,
Это времени смена,
Но любви мы тогда задержать не сумели.
Под мостом Мирабо протекала глубокая Сена.

Часов ночных раздавался звон.
Я тот, что прежде. Сменился сон.

СНЕГ

Архангелы небесных сфер,
Один одет, как офицер,
Другой одет, как повар,
И льются песни хором.

Прекрасен, офицер, твой голубой мундир.
На смену Рождеству весна согреет мир.
Медалью огненной украсят это небо —
Медалью Феба.

О повар, пух гусей, ощипанных тобой,
Летит сквозь сумрак нежный.
Но в этот вечер снежный,
Любовь моя, зачем ты не со мной?

Но вызывание и сочетание этих неожиданных, удивляющих образов опять-таки недостаточно передает оттенок ощущения. Тогда к нему присоединяется другое, для того, чтобы все эти образы исчерпали сложность ощущения, какое они призваны „вызывать" (но не рассказать). Так у Аполлинера рождалась потребность целых длинных стихотворений в прозе, перемежающихся настоящими стихотворными строфами в тех местах, где лирический напор сам собой перерастает ритмическую прозу, пока созерцание огромной сложной картины не вызовет в душе читателя новый комплекс чувств, мыслей, открытий, передать которые не было целью поэта за невозможностью всего рассказать. И это означает, что стихи и проза „серебряного" поэта ближе к музыке, чем у классиков.

ДОМ МЕРТВЫХ

Этот дом вытянулся около кладбища. В нижних окнах были зеркальные стёкла, как в магазине, и сквозь них можно было видеть восковые фигуры. Они стояли прямо, не улыбались, лица их хранили странное, застывшее выражение.

Уже прошло пятнадцать дней, как я приехал в Мюнхен, но только теперь случайно забрёл на это кладбище. Я ощутил тоску от созерцания всей этой буржуазии, выставленной напоказ и наряженной по-праздничному.

Внезапно, быстро, как воспоминание, во всех витринах у всех восковых фигур стали зажигаться глаза, и одновременно в небе что-то зазвучало. Это была первая проба трубы архангела, предсказанная в Писании. Земля из шара превратилась в огромную равнину, как до Галилея, и на ней стали появляться различ-

ные мифологические персонажи. Ангел разбил алмазом все стёкла, и тогда мертвецы сошли со своих мест, вышли и окружили меня. Их лица сперва сохраняли отблеск потустороннего мира.

Но скоро лица и движения стали менее зловещими, и небо и земля, потеряв свою призрачность, вернулись к нормальному состоянию. Мертвые смеялись, и каждый из них радовался, наблюдая, как движется его тень в этот солнечный полдень. Я всех пересчитал — их оказалось сорок девять: мужчин, женщин и детей. С каждым мгновением они становились всё красивее и смотрели на меня с такой сердечностью, с такой нежностью, что я тоже вдруг почувствовал к ним прилив дружбы. Тогда, неожиданно для себя, я пригласил их всех на загородную прогулку. И мы удалились от их дома и пошли, взяв друг друга под руки и распевая воинственную полковую песнь „Ура, простились нам грехи“ и другие в таком же роде.

Мы шли через город. Нам стали встречаться их родные и друзья, и они тоже присоединялись к нам. Все были так жизнерадостны, совсем здоровы, и никак нельзя было отличить живых от мертвых.

За городом в нашу компанию вошли еще два солдата легкой кавалерии, они срезáли своими ножами камыш у ручья и делали дудки для детей. И вот начался сельский бал, и пары пустились танцевать, руки на плечи, под звуки струнного оркестра.

Они не забыли танцев, эти покойники, ни того, как пьют вино. Звук колокола всякий раз оповещал, что открывается новая бочка. Одна из умерших молодых женщин, сидевшая несколько в стороне у куста барбариса, позволила живому студенту стать на колени у ее ног.

— Я буду ждать вас десять лет, двадцать, если надо, — говорил он. — Ваша воля будет моей.

— Я буду ждать всю вашу жизнь, — отвечала она.

Дети из этого и из того мира кружились в хороводах и пели песни, лирические, хоть и нелепые, что является самой древней поэзией человечества. Студент дал мертвой обручальное кольцо:

— Вот зарок моей любви, мы теперь жених и невеста. Ни время, ни разлука не заставят нас забыть обещание. И когда-нибудь мы сыграем веселую свадьбу, будет много цветов повсюду и в ваших волосах, и много гостей, и проповедь в церкви, и длинная речь за обедом. И музыка... музыка.

— Наши дети, — отвечала невеста, — как они будут красивы! Я вижу их перед собою (увы, сломалось вдруг кольцо), волóс сиянье золотое, у каждого твое лицо. Они как ангелы прекрасны, у каждого небесный взгляд, как у тебя глаза их

ясны, а мир вокруг — как этот сад. — Увы, кольцо разбито было, завяла белая сирень, и дуновенье чуждой силы вдруг одолело ясный день.

Когда музыканты ушли, мы двинулись дальше. На берегу озера мы забавлялись, бросая плоские камни, которые прыгали по воде. Лодки стояли на причале, их отвязали, и вся наша компания заняла места. Некоторые из умерших взялись за вёсла и гребли, не хуже чем живые.

В той лодке, где я сидел за рулем, один из умерших разговаривал с живой женщиной. На ней было желтое платье, черная кофта с голубыми лентами и серая шляпа, украшенная пером, слегка помятым.

— Я люблю вас, — говорил он, — как голубь любит свою подругу, как ночной мотылёк любит пламя свечи.

— Слишком поздно, — отвечала живая. — Забудьте эту запретную любовь. Я замужем, смотрите, вот блестит кольцо... Мои руки дрожат, я пла́чу, я бы хотела умереть.

В это время лодки подошли к тому месту, откуда можно было громко задавать вопросы и эхо сейчас же давало ответ. Об этом нас предупредили солдаты. И хотя вопросы оказались самые сумасбродные, зато ответы получались настолько кстати, что все надрывались от смеха.
Мертвый говорил живой женщине:

— Над нами закроются воды,
Навеки мы будем вдвоем
И мира забудем невзгоды...
Ты плачешь? Скажи мне, о чем?

Когда все вышли на берег, оказалось, что пора возвращаться. Влюбленные шли теперь парами, обнявшись, немного в стороне. Живые искали мертвых, мертвые звали живых. Начинало темнеть.

Куст можжевельника порой
Казался привиденьем.
Носились дети над рекой
И прятались в растенья.
И на свистках из бузины
Играли нам ребята,
И забавлялись, как они,
Тирольские солдаты.
Перекликались словно с гор
И будто бы с похмелья,
А рядом — тихий разговор
И грустное веселье.

В городе наша толпа стала уменьшаться. Все говорили: До свиданья! До скорого! До завтра! Многие заходили в пивные. Некоторые из живых покинули нас перед собачьей мясной, где они обычно покупали пищу на ужин.

Скоро я остался один с покойниками, которые шли теперь прямо на кладбище. Я немного отстал и, придя под Аркады, увидал их — каждый чинно опять занял свое место и все как утром, в парадных одеждах, ждали за витринами погребения.

Они не подозревали о том, что произошло. Но живые помнили всё, и это было для них большой удачей. Да, это было такое достоверное счастье, что они уже не боялись его потерять. С тех пор они жили так достойно, что те, кто еще вчера смотрели на них, как на равных себе, или даже как на низших, — поняли силу их духа и стали удивляться их величию. Потому что нет ничего, что бы так возвышало, как если кто полюбит умершего. Такой пребывает в чистоте, и иногда, в недоступных для других горных ледниках памяти, ему случается соединить свое личное с тем, о ком он вспоминает.

И человек запасён силами на всю жизнь и больше ни в ком не будет нуждаться.

***

Поэзия создается из музыки, философии и живописи, то есть от соединения ритма, символа и образа.

Первое поэтическое ощущение — скрытые поиски жизни более полной, более разнообразной — есть как бы любовь к описыванию: поиски моря, движения, волнения, стихии, и подхватывающей, уносящей (это „живые“ у Аполлинера). Второе поэтическое ощущение есть поиски неподвижности, созерцания двигающихся вещей, исходящих и возвращающихся, проходящих мимо „Аркад и витрин“ „Дома Мёртвых“. Солнце может быть или отравой или благословением. Оно то́ живит, то убивает, то усыпляет, то спасает, в зависимости от принятия ежесекундной смерти и „основной неудачи“ мира.

„Восковые фигуры за зеркальными окнами“ чувствуют иногда, что вот что-то с ними происходит, точно наступил праздник, и они переживают что-то бесконечно ценное, но что́ именно, — сказать не могут. Причем иногда с силой физического припадка приходят к неким состояниям особого содержательного волнения, бесконечно сладостного... И тогда у поэта вдруг слагается первая строчка, которая потом может занять и не первое место, а чаще в середине, иногда в конце стихотворения, то есть с каким-то особенным распевом сами собой располагаются слова.

При этом они становятся как бы „магическим стеклом“ Евгения Онегина, как иногда в одной музыкальной фразе запечетлевается целая мертвая весна в Далмации или целое Рождество в снегах в России. У Аполлинера есть целое стихотворение, сложившееся, по-видимому, сразу, где как будто передана вечность мгновения, объединившего в себе весь опыт жизни и мироздания, начало и конец, весну и осень, любовь, печаль и мудрость. Эту его „Осень“ часто читают во Франции — в театре и по радио, причем читать ее нужно как бы одним дыханием:

ОСЕНЬ

В туман уходил косолапый старик
И медленный вол по дороге осенней
Там прячутся бедные крыши селений
Там льется напева томительный крик
Старинная песнь о любви об измене
Про сердце больное кольцо и огни
И как умирали июльские дни
В туман уходили две серые тени.

„...Поэт хочет спасти от исчезновения то мгновенье всеобъемлющей вечности, о коем каждый из нас знает, забывает и вспоминает, когда оно снова возвращается. Поэт понял, что это можно только через музыку, то есть используя магическую „эвокационную“ *) силу музыки, подобную заклинанию, потому что иначе рассказать про то, что он почувствовал, невозможно.

„...Область лирической поэзии есть область особого рода беспричинных переживаний, которые Рэскин называл „тихими чувствами“, в отличие от громких чувств страстной любви, ревности, гнева, зависти. Но и эти более ясные чувства тоже рассказать трудно. Что можно сказать прозаическим языком о ревности? Что она была более или менее сильна, то есть пытаться описать только ее количество. Но каждая ревность каждого человека имеет еще свое особое качество — и в каждую минуту своего течения еще особый дополнительный оттенок. Язык же так беден словами, что, как на это уже жаловался Шопенгауэр, невозможно рассказать разницу между кислым и горьким...“ (Борис Поплавский. „Из дневников“. Париж, 1938).

*
* *

---

*) Которая вызывает что-то из подсознания или надсознания.

Не нужно думать, что Аполлинер был только „футурист", сверхмодерный поэт. Да, он писал в эпоху, когда снимались новые пласты с подсознания (что случалось в каждую эпоху; так Гамлет, во всем сомневающийся, не похож на предшествующих ему принцев, а Дон-Кихот не похож на тех рыцарей, кому он хотел подражать). Но, как заметил еще Дягилев, знавший и любивший XVIII век, в поэтическую структуру многих стихов аполлинеровского „грустного веселья", перемешанного с дозой эротизма, перешло немало от XVIII века, в том числе от русского. Последнее не случайно, и этому способствовал сам Дягилев хотя бы тем, что он воскрешал тот век в своих балетах. Но, кроме этого, остались свидетельства, что Аполлинер знал от того же Дягилева кое-что пригодившееся ему из русской поэзии XVIII столетия, во всяком случае знал „Весну" Тредиаковского и „Бычка" Державина.

Тредиаковский был первый из русских поэтов, который почувствовал и воспел очарованье Парижа и Сены: „О, пресветлый воздух сенский, не грозен тебе дух деревенский" (то есть грубый, не утонченный, такой, который норовил сломать хрупкие поросли цивилизации). Это было начало нашей лирики, первый убогий стебель ее. По своем возвращении в Петербург Тредиаковский должен был перейти на социальные темы, созвучные его эпохе: „Если ж кто польстится строй ввести обманный, бойся, прелестниче, самодержцы Анны..." Сенский воздух оказался побежденным. Однако и на родине сохранилась способность у Тредиаковского удивлять читателя всяческими фантастическими неожиданностями (может быть, неумышленными, но неумышленная удача ценна в искусстве не меньше, чем преднамеренность). Мы знаем, что его знаменитая „Весна", которая приводила в восторг русских гимназистов стольких поколений, восхитила и Аполлинера своим калейдоскопом лукавств.

Элефанты и леонты (слоны и львы)
И лесные сраки (сороки)
И орлы, оставя монты, (горы)
Учиняют браки.
О, колико се любезно,
Превыспренно, взраченó (торжествующе славно)
Нарочито преполезно
И сугубо смаченó — (вкусно)
Стрекочущу кузнецу (кузнечику)
В зеленом блате сущу, (болоте)
Нарочиту червецу (умному, себе на уме червяку)
По злакам ползущу.

БЫЧОК

Зрел ли ты, певец Тиийский,
Как весной в лугу „бычка“
Пляшут девушки российски
Под свирелью пастушка?
Как склонясь главами ходят,
Как ногами в лад стучат,
Тихо руки, взор поводят
И плечами говорят...

(Державин)

Этот „Бычок“ вызвал у Аполлинера желанье поехать в Россию поискать, танцуют ли еще там так (Дягилев уверял, что да), но этот проект не осуществился, как и многие другие. Музыка же эта нашла свой отклик в „Алкоголе“. А оттуда она снова откликнулась в стихах Бориса Поплавского и Александра Гингера. Так одно творчество прорастает из другого. *)

***

Немецкие влияния. В 1901 году Аполлинер жил в Германии, в прирейнских провинциях. Влияние на него немецкого романтизма, которое так чувствуется в „Доме Мёртвых“, самим поэтом подчеркивается в том цикле из девяти стихотворений сборника „Алкоголь“, который он озаглавил „Рейнские поэмы“. Сто лет тому назад Жерар де Нерваль, предшественник Бодлера и родоначальник всей великой новой французской поэзии, доказал, как можно соединять в новое и мощное французский и немецкий романтизм. В „Рейнских поэмах“ этот опыт продолжен и подтвержден. Вот две из них.

КОЛОКОЛА

Мой цыган, о друг мой верный,
Ты слыхал колокола?
Значит, знают все в деревне,
Что с тобою я была.

Колокольни увидали
Изо всех окрестных сёл
И соседям рассказали,
Что ко мне ты ночью шел.

---

*) В “Алкоголе” есть (стр. 25) забавное стихотворное описание картины Репина “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”, под этим же заглавием. Дан “текст” этого письма, весьма непристойный. — Н. Т.

Значит, завтра Катерина,
Пьер, Урсула и Анри,
И Марго, моя кузина,
И сапожница Мари

Усмехнутся, засудачат.
Кто-то мне тогда поможет?
Ты далёко. Я запла́чу.
Я тогда умру, быть может.

ЕЛКИ

В остроконечных колпаках
И в длиннополых кожухах,
Как старцы астрологи,
Склонились ёлки с высоты
Над Рейном, там идут плоты,
Там их сестёр уводят.

Все семь искусств известны им
И могут передать другим
Науки дисциплину.
И между ними есть поэт,
Он светит, будто семь планет,
Над Рейном и долиной.

Есть музыканты среди них,
Рождественский старинный стих
Там слышен за метелью.
Хор белых ангелов с небес
Зимой слетает в темный лес,
Весной здесь только ели.

А летом древние жрецы,
Или монахи чернецы,
Иль старые девицы.
Порой в осенний бурелом,
Когда шумит на небе гром,
Вздыхает ёлка и ложится.

* * *

Всего в „Алкоголе“ пятьдесят одно стихотворение. Вот три последние:

ОТЕЛИ

Отдельный номер.
Живи как крот.
Пока не помер,
Плати вперед.

Мадам в сомненье:
Внесу ль по счету?
Спираль ступеней
И я, как штопор.

Сосед в ермолке,
Угрюмый рак,
Он курит горький
Морской табак.

Вокруг столичный
Отельный сон,
Разноязычный
Вавилон.

Запрёмте двери
На засов.
Пусть каждый верит
В свою любовь.

Следующее стихотворение посвящено Анне, молодой англичанке, в которую поэт был влюблен в Германии. Они читали вместе книгу Томаса де Квинси: „Исповедь человека, который ел опиум“.

ОХОТНИЧЬЯ ТРУБА

История была трагичной
И пасмурной, как лик тирана,
Обыденной, не патетичной,
Но ни одна деталь романа
Еще не стала безразличной.

Томас Квинси, он опиум пил,
Яд целомудренно-медовый,
О бедной Анне всё грустил...

Напрасно, никогда вы снова
Не встретитесь, поет судьба.

И замер в заросли еловой
Мой зов, охотничья труба.

Несколько лет назад в газетах было сообщено, что Анна (Аполлинера, а не де Квинси, той истории больше ста лет) еще живет где-то в Америке. Она была очень удивлена, узнав, что ее поклонник 1901 года студент, перед смертью стал знаменитостью и что вдохновленные ею стихи, которые она давно забыла, переведены на все языки (в „Алкоголе" таких стихов, но всяком случае, десять).

Заключительное стихотворение, очень длинное, носит заглавие „Вандемьер". Напомню, что так назывался первый месяц республиканского календаря во Франции (от 22 сентября до 21 октября). От латинского vindemia, сбор винограда.

Я даю сокращенный перевод „Вандемьера", в подлиннике в нем 174 строки. Это гимн освобождению человека от вражды и разделения. Начинается он с подражания древним, первым лирикам человечества, которые начинали так: „О, будущие люди, я жил во дни фараона такого-то...". Кончается гимном торжества всемирного братства, где каждый сохранит свой неповторимый голос в созвучии общего хора, поющего „Осанну". В некоторых строках „Вандемьера" не трудно найти отзвуки Евангелия.

ВАНДЕМЬЕР

Будущие люди, вспоминайте обо мне.
В тот век, когда я жил, умирали короли.
Они проходили, молчаливые и грустные,
И, трижды могучие, шли прямо на небо.

Как прекрасен Париж в конце Сентября!
Золотой виноградник сиял урожаем
Фонарей, озарявших и землю и небо.
Опьяненные птицы питались гроздями
Многих лоз и созвездий всего мирозданья.
Раз я в сумерки шел по пустынным бульварам
Рядом с Сеной, и вдруг мне послышался голос.

Пел он грустную песнь и замолк в ожиданье,
Чтоб другие напевы достигли Парижа
Из других городов и от дальних народов.
Долго слушал я новые песни и зовы,
Что в ночи пробудило парижское пенье.

Меня жажда терзает, я пью города
Этой Франции светлой, Европы и мира.
Я давно уж вскормленный парижской лозою
Стал трудиться в садах виноградарей новых.
Там все лозы растут к небесам и, о чудо,
Они песни поют, и сады во вселенной
В перекличку вступают с лозою Парижа.
Новый хор, что возник среди ночи, внезапно
Громовыми разливами землю окутал.
Итальянского солнца гремели раскаты
И туман грохотал от Балтийского моря.

. . . .

Дружный хор возрастал, в той гармонии новой
Каждый голос звучал по-иному, и каждый
В совершенном ладу находил свое место.
В океан многозвучный все реки сливали
И вострги и боль урожая народов,
Всех народов, похожих на нас и различных.
Как я жаждал испить эти чаши вселенной!
Вспоминайте меня, я был горлом Парижа
И я выпью еще, алкоголик в харчевне.

Слушайте же песни мирового алкоголика...
А ночь Сентября медленно светлела,
Звезды угасали, новый день рождался

(Все эти стихи переведены мною. Н. Татищев)

НЕИЗМЕННОСТЬ В ДВИЖЕНИИ

...Попытка уяснить, что есть жизнь, или то, что называется „я“, которое ежеминутно меняется.

Река течет, но и берега тоже куда-то уплывают.

Едва начинаешь догадываться, что все это значит, как уже нет ни реки, ни берегов, один Океан.

Ни войны, ни воспоминаний, ни стихов — все растворилось в Тихом Океане.

25-XI-1972, Париж.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Achevé d'imprimer
sur les Presses de l'Imprimerie Beresniak
18, rue du Faubourg-du-Temple - Paris-XIe
1 9 7 2